

Фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://bykovvasil.ru/> Приятного чтения!

Фронтовая страница. Василий Владимирович Быков

1

На заросшие бурьяном межи, неровный бруствер окопа и одинокую пушку из затуманенной выси сыпался снег. Студеный северный ветер своевластно буйствовал в неубранном кукурузном поле, теребил и рвал мерзлые изломанные стебли, наполняя простор унылым завыванием выюги.

Снег пошел под вечер, когда на огромном равнинном просторе утих грохот боя и немногие из уцелевших отошли на восток. Теперь тут было тихо и пусто, лишь смрадно чадили догоравшие танки, валялись передки пушек, повозки, убитые лошади и везде трупы, трупы... Немецкие танки, прорвав оборону, глухо ревели в снежной дали, быстро унося с собой многоголосое громыхание боя. Грохот его, однако, уже утихал, стрельба отдалилась, лишь изредка самый сильный или самый близкий взрывы сотрясали землю. Мелкие комья с бруствера катились тогда в окоп и приглушенно стучали по одуванчика плащ-палатке, под которой лежал командир этого орудия сержант Скварышев. Он был убит утром во время первой атаки, и, как только немного утихло, ефрейтор Кеклидзе, сняв с себя плащ-палатку, накрыл командира. Через какой-нибудь час надо было накрывать и самого Кеклидзе, но сделать это уже было нечем и некогда — живые отбивали новую атаку, затем следующую. Так присыпанный снегом ефрейтор и остался до вечера в измятой кукурузе, среди разбросанных гильз и пустых снарядных ящиков.

Его надо было похоронить, чтобы враг не надругался над трупом, но у Тимошкина уже не хватало силы встать с бруствера и дойти до убитого, так измотал его этот тяжелый день. Болела раненая рука, хотелось положить ее поудобнее и не двигать, — казалось, это уменьшит боль. Сначала, когда осколок немецкой мины полоснул по ладони, Тимошкин не почувствовал особенной боли; не очень донимала она и после того, как наводчик Щербак двумя индивидуальными пакетами перевязал рану. В то время немецкие танки подошли к самым посадкам — в двухстах метрах от огневой позиции, и сорокапятчики стреляли по ним подкалиберными. Потом танки все же прорвались в тылы полка, пехота отступила, и артиллеристы остались одни. Бросить пушку они не имели права, а вывезти ее было нельзя — обе их трофейные лошади оказались убитыми. Эту печальную новость им принес только что вылезший из кукурузы ездовой Здобудька. Низко опустив голову, он виновато стоял теперь между станин, в своей короткой, обожженной внизу шинели, и, отвернувшись от ветра, молчал. Напротив, прислоняясь к щиту пушки, зло глядел на него наводчик Щербак.

Звуки боя тем временем все отдалялись, взрывы редели, уже надо было вслушиваться, чтобы сквозь ветер уловить треск пулеметных очередей, которые полчаса назад неистовым грохотом оглушали простор. Немецкой пехоты, видимо, прорвалось немного и теперь тут, на поле боя, не слышно было никого. Будь у артиллеристов хоть какое-нибудь тягло, они, возможно, смогли бы спасти пушку и себя. Но лошадей у них не было, и виновником своей новой беды бойцы считали Здобудьку.

— Чертов недотепа, — злился Щербак, засовывая в карманы ватных штанов свои большие озябшие руки. — Запрячь бы теперь самого в пушку да врезать кнутом по боку!

Они ругали ездового за то, что погибли их лошади, хотя — сами понимали — не велика была в том вина пожилого солдата Здобудьки. Много ли можно спросить с призывника, который всего две недели назад пришел в батарею и только еще начал осваиваться на войне, как случилось это несчастье. Разве можно было сберечь лошадей, когда гибли роты и батальоны, когда немецкие танки шквальным огнем уничтожали все живое в окопах, на огневых позициях, в траншеях, кукурузе.

Прижимая к груди раненую руку, Тимошкин тупо глядел на орудие. Усталость и какое-то внутреннее оцепенение свинцовой тяжестью сковывали тело, которое жаждало теперь только покоя, а мысли напрасно метались в голове в поисках выхода. И все же надо было что-то делать, как-то искать спасения.

Щербак тем временем молча и зло топтался возле пушки.

Это была маленькая сорокапятка, которой не меньше, чем людям, перепало за сегодняшний день. В стальной щите ее зияли две рваные пробоины от крупнокалиберных пуль, правый закрылок был косо обрублен, наверно большим осколком, на колесах висели ключья резины. Казенник так накалился от выстрелов, что и теперь еще был теплым, и снежинки, оседая на нем, сразу же превращались в капли воды.

Тревожно шелестело на ветру кукурузное поле, в недобром предчувствии хмурилось небо — надвигалась холодная выюжная ночь. Широко расставив ноги, запорошенный снегом, в ватнике и сдвинутой на ухо шапке, Щербак озабоченно стоял возле щита.

Конечно, ему жаль было этой пушечки, с которой они прошли от Днестра до Балатона и которая не раз спасала им жизнь и выручала пехоту. Под Кишиневом, когда немцы прорывались из окружения, какой-то гитлеровец метнул в нее противотанковую гранату. К счастью, он промахнулся, граната перелетела через щит и, разорвавшись сзади, перебила только станину. В артмастерской на станину наварили стальную латку, и хлопцы говорили, что это счастливый знак, с которым пушка наверняка доживет до мира. Потом, уже в Венгрии, бронетранспортер пометил ее щит косой пулеметной вмятиной. Неделю назад очередью из «мессершмитта» пробило сошник, тогда же ранило и правильного Перчика. Люди в расчете постепенно менялись – раненых отправляли в госпитали, убитых хоронили. Дольше всех оставался в строю молчаливый сержант Скварышев. Но вот сегодня не стало Скварышева, и, кажется, пришел конец и орудию.

Хорошо, если бы нашлась противотанковая граната или хотя бы один снаряд. В таких случаях стоило всыпать в канал горсть песка и выстрелить, как ствол разорвало бы на куски. Но снаряда у них не было. Щербак перекидал все ящики, переворошил сапогом в снегу звонкие, пустые, источавшие пороховой смрад гильзы и ничего не нашел. Оставалось одно – вынуть клин. Поковырявшись в затворе, Щербак сделал это и крикнул Здобудьке:

– Снимай мешок.

Не спрашивая зачем, ездовой снял из-за едины свой вещевой мешок, развязал лямки, и наводчик бросил в него полупудовый клин и прицел.

– О, то тяжко! Як же нисти цэ? – недовольно заворчал Здобудька.

Щербак решительно оборвал его:

– Не ной! Сам понесу.

Он отставил мешок в сторону, сдвинув шапку, почесал затылок, огляделся, затем вынул из сапога финку и пошел в кукурузу. Здобудька неохотно поплелся следом.

Они долго бродили по истоптанному кукурузному полю, пока наломали по охапке стеблей, принесли, бросили их меж станин и снова пошли уже дальше, где кукуруза была гуще. Тимошкин по-прежнему сидел на бруствере, держа возле груди свою спленатую, как кукла, руку, и ждал. Молчание и однообразный шум ветра нагоняли тоску, и в голове парня проносились вереницы невеселых, беспорядочных мыслей.

Еще вчера они жили тут, как можно до поры до времени жить на войне, – изредка стреляли по немцам, подолгу сидели в узком окопчике-ровике, ждали вечера, когда старшина приносил ужин, мерзли и много курили. Ночью, выставив часового, опали, тесно прижавшись друг к другу. В спокойную минуту заряжающий Кеклидзе, как о потерянном рае, вспоминал далекую Грузию, шашлык, вино и своих близнецов-ребят. Командир Скварышев чаще всего молчал, хотя этот умный, образованный москвич мог бы рассказать о многом. И вот не стало уже Скварышева, засыпает снегом Кеклидзе, утром отправили в госпиталь Румкина, разгромлен полк, неизвестно, что стало со всей их дивизией... Как теперь выбираться из этой западни, как пробиться к своим? И почему все тише и реже разрывы? Может, немцы уже прорвались к Дунаю?

Заметно темнело. Снежная крупа все сыпалась и сыпалась с затянутого пепельным мраком низкого неба. Быстро исчезали под снегом трупы, черные пятна воронок; равнинный простор поглощалиочные сумерки, лишь впереди тускло серели искалеченные деревья посадок. Не стало видно и долговязого немца, которого во время атаки почти у самой огневой застрелил из автомата Щербак. Запрокинув волосатую голову, немец с полудня удивленно смотрел на них остановившимся взглядом. Теперь и его укрыл снег.

Вдруг в кукурузе, приглушенный непогодой, прозвучал одиночный выстрел. Тимошкин вздрогнул, насторожился и потянулся рукой к лежащему у ног автомату. Но тишина больше не нарушалась, и вскоре на снегу с охапкой стеблей в руках появился Щербак.

– Кто стрелял? – тревожно спросил Тимошкин.

Наводчик дотащил свою ношу, вскинул ее на пушку и отряхнул ватник.

– Связиста прикончил. Раненого.

– Что ты! Может, выжил бы?

– Выжил? Кишки все вывалились...

Тимошкин с минуту вслушивался в ночь, затем опустился на бруствер. Спорить с Иваном он не хотел, потому что знал, как трудно было в чем-либо переубедить его. Иногда командиры ругали наводчика за самоуправство, иногда наказывали, но он всегда поступал по-своему, и зачастую получалось, что был прав.

Забросав кукурузой пушку, Щербак позвал Здобудьку и пошел к снарядным ящикам. Там, подхватив под руки тело Кеклидзе, он остановился, выжидая, пока ездовой вольется за ноги убитого.

– А ну, смелей. Не укусит! – зло прикрикнул наводчик.

Спотыкаясь о комья бруствера, они понесли Кеклидзе к ровику, где лежал Скварышев. В это время поодаль, в кукурузе, мелькнуло тусклое пятно фонарика. Тимошкин предостерегающе шикнул – ребята притаились. Стало тревожно и тихо.

Фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Вскоре на краю кукурузного поля появилось несколько теней, у их ног на снегу шевелилось пятнышко света. Где-то там проходила траншея, и они осматривали ее, пока не исчезли в снежной метели. Конечно, это были немцы.

Щербак вполголоса выругался. Здобудька опасливо поднялся с земли и уже решительнее, чем в первый раз, взялся за ноги убитого. Тимошкин тоже встал с бруствера. Втроем они поднесли тяжелое тело Кеклидзе к ровику, где лежал Скварышев. Щербак, обрушивая сапогами землю и придерживая покойника за руки, начал опускать его в черную яму. Здобудька помогал ему, а Тимошкин, стоя над могилой, не мог проглотить застрявший в горле комок.

– Пошли, того принесем, – сказал Щербак, выпрямляясь. – Закопаем вместе.

Вдвоем со Здобудькой они побежали куда-то и вскоре принесли из кукурузы еще одно тело, которое, устало дыша, взвалили на бруствер. Это был здоровенный усатый боец, согнутые руки которого уже не разгибались и неуклюже торчали локтями в стороны. Полы его иссеченной осколками шинели широко распластались на снегу.

Тяжело дыша, Щербак сел рядом с убитым. Снег становился все гуще и быстро засыпал усы солдата, его мертвое небритое лицо.

– Закурить нет? – спросил наводчик.

– у Кеклидзе должно быть, – сказал Тимошкин, вспомнив, как утром ребята закуривали у запасливого ефрейтора.

Щербак, опершись на руки, спрыгнул в ровик, а Тимошкин обессиленно опустился возле убитого, уже не чувствуя того, что обычно ощущают здоровые люди рядом с покойником. Ездовой, видимо еще не до конца преодолев в себе страх перед мертвцем, насупившись стоял напротив. Наводчик, с минуту повозившись в ровике, вылез, держа в руках масленку с двумя горлышками, в которой бойцы носили махорку.

Укрываясь от ветра, Щербак свернулся цигарку и из-под полы прикурил. Потом заметно притих, осел на бруствере и, будто подобрев, выдыхая табачный дым, сказал:

– Ну вот и все. Конец. А когда-то на формировке вместе патрулировали, – кивнул он в сторону убитого. – Веселый был дядька. Все про баб рассказывал...

Тимошкин, разбитый и подавленный, молча сидел рядом, глядя и не видя, как докуривал Щербак, как потом они со Здобудькой опускали в последнее пристанище убитого и искали под снегом лопаты.

И только когда в могиле-ровике зашуршала о палатку земля, боец, будто очнувшись, понял, что настало прощание. Они сделали все, что могли, – для живых, отступивших на восток, и для мертвых, навсегда оставшихся тут, в чужой стороне. Не было на этих спешныхочных похоронах ни громких салютов, ни красивых слов о погибших, только, как всегда, тупая боль скжала сердце. У Тимошкина повлажнели ресницы, и хорошо, что настала ночь и не надо было отворачиваться, чтобы скрыть от других эту невольную солдатскую слабость...

2

Одинокие и ничем больше не связанные с тем клочком земли, на котором они две недели жили и бились с врагом, бойцы пошли на восток.

Они долго брали кукурузой, проринаясь сквозь ее неподатливые, густые заросли. Было холодно, темно и ветрено. Сыпал снег. Шуршала сухая кукурузная листва, и в этом неумолчном шорохе трудно было что-либо услышать. Казалось, все вокруг по-ночному притихло, затаилось, поникло. Щербак своим могучим телом решительно раздвигал тугие намерзшие стебли, за ним, оберегая здоровой рукой раненую, пробирался Тимошкин. Он никак не мог успокоиться, то ли от того, что произошло сегодня, то ли от раны или еще отчего, его все время знобило, он дрожал. Последним уныло тащился Здобудька.

Горько это было и обидно – после стольких побед и удач переживать несчастье разгрома и втроем пробираться ночью по чужой земле, остерегаясь каждого шороха и каждой тени. Хорошо еще, что в такой беде рядом надежный товарищ, с которым связывает тебя нечто большее, чем просто полковое знакомство. В этом смысле Тимошкина немного успокаивало присутствие Ивана Щербака. Пока наводчик был рядом, боец мог справиться с любой бедой, без страха пошел бы с ним хоть на край света.

Когда-то, еще в Молдавии, Тимошкин пришел в этот полк из запасного, где его месяца два учили на автоматчика, и потому в артиллерию он разбирался слабо. И вот случилось так, что по какому-то недосмотру штабистов боец попал в команду, из которой пополняли артиллерийские батареи дивизии. Командир батареи, принимавший их, узнав, что Тимошкин не артиллерист, приказал вернуть его на сборный пункт. Накануне бойцы совершили большой марш, направляясь к фронту; Тимошкин при своем далеко не богатырском росте и очень ограниченной выносливости окончательно выбился из сил и выглядел, конечно, неважно. И тогда ефрейтор

Фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
Щербак, который должен был со старшиной сопровождать пополнение в полк, попросил
у комбата разрешения не отправлять Тимошина обратно. Неизвестно, как ему
удалось уговорить капитана, но через несколько дней они оказались в одном
расчете, Щербак понемногу научил его артиллерийскому делу, постепенно они как-то
сблизились, хотя характерами были разные, и стали друзьями. Каждый день они
плечом к плечу стояли у пушки, сгибались в окопе во время бомбежки, вместе
мерзли ночами, согревая один другого собственным теплом. Щербак был молчалив,
сдержан, порою слишком упрям, но всегда справедлив. И еще он был смелым. У
Тимошина не было ни одной медали, а Щербак уже имел ордена Славы и Красной
Звезды.

Наконец кукуруза кончилась, и наводчик первым вылез на сумеречный, тусклый
белевший простор. Снежная крупа все сыпалась на раскинувшееся впереди голое
поле, посреди которого они увидели неподалеку одинокую человеческую фигуру.
Быстрым шагом человек направлялся куда-то вдоль кукурузы, очевидно в ту сторону,
куда шли и они. Замедлив шаг и всмотревшись, Щербак негромко окликнул его:

— Эй!

Словно споткнувшись, неизвестный остановился, оглянулся, но, видно не заметив
их, торопливо зашагал в прежнем направлении.

— Стой! — громко крикнул Щербак, и человек остановился.

По присыпанному снегом жниву они пошли к незнакомцу. Тот настороженно ждал,
прижимая к груди автомат, взятый на изготовку. Но вот стала видна его
перетянутая в талии шинель, затем шапка-ушанка, которая окончательно убедила,
что это не немец. Щербак, идя впереди, спокойно забросил на плечо автомат,
Тимошин и Здобудька всматривались в еще неясную в сумерках фигуру. Человек,
застыв на месте, тревожно ждал.

— О, гляди — земляк твой! — оглянувшись, сказал Щербак.

Подойдя ближе, Тимошин действительно узнал своего земляка, писаря полкового
штаба сержанта Блищинского. Давно уже, наверное от самой дунайской переправы,
они не виделись, хотя и служили в одном полку. Правда, в этом не было ничего
особенного — различными были их обязанности, и потому не очень часто сходились
их стежки. Один нес службу при штабе, а второй все время был на передовой, копал
окопы да таскал пушку.

Блищинский тоже узнал Щербака и Тимошина и, кажется, недовольный тем, что его
задержали, сказал:

— давайте быстрее! А то немцы.

Они оглянулись — действительно, надо было спешить, от поля недавнего боя они
отошли совсем недалеко. В стороне, где осталась их пушка, проворчала машина и
послышались чьи-то приглушенные голоса. Хорошо, что снегопад надежно укрывал
бойцов от чужих глаз.

Щербак, не останавливаясь, подался вперед, а Тимошин с Блищинским пошли рядом.
Было ветreno и не по-фронтовому тихо, только шуршала в стороне кукуруза да
впереди, где-то далеко, еле слышно изредка грохотали взрывы. Блищинский шагал
быстро, загребая сапогами снег, и, поглядывая по сторонам, говорил:

— что, земляк, вlopались? Опростоволосились! Ну, с кого-то погоны снимут. Такое
нельзя прощать.

— С кого же снимать? — сказал Тимошин. — С тех, что в снегу остались?

Не сбавляя шага, Блищинский сбоку глянул на земляка:

— Я не о тех. Бери повыше. Тех, кто прошляпила все это...

— Сила! Что сделаешь?

— Сила! А у нас не сила? Вон от Волги до Будапешта дошли. Тут дело не в силе.
Просто проспал кто-то. Артиллерии-то мало оказалось. Одна полковая немного
сделает. А ведь теперь придется опять отвоевывать. То же самое.

— Да, это так.

— Ну вот. Повторным заходом. Кровь проливать. А кровь-то не казенная.

Чувствуя неоспоримую правоту этих слов, Тимошин только вздохнул.

— Вот из расчета втроем остались, — сообщил он земляку. — Двое убиты. Остальные
ранены.

— Что, прямое попадание?

— Нет. Прямо не было. Так, осколками, — превозмогая боль, говорил Тимошин.
Блищинский, идя впереди, удивленно оглянулся:

— А пушку что ж — бросили?

— Кукурузой закидали. Взорвать было нечем. Щербак вон в вещмешке клин несет.
Блищинский, не сбавляя шага, огляделся.

— Вот как! Плохо ваше дело.

— А что? — не понял Тимошин.

— Спрашиваешь! Будто не знаешь! За оставление техники — трибунал!

У Тимошина что-то словно оборвалось внутри. Он вдруг удивился, как все это не
пришло ему в голову раньше, — ведь в самом деле, из-за пушки могут произойти

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
неприятности. Но чтобы как-то скрыть свое замешательство, боец грубо спросил
о другом:

— А ты почему это так... задержался?

— Я? Майора Андреева тащил. Раненого. На руках умер. Вот сумку снял. —
Блищинский хлопнул по кожаной сумке, которая на длинном ремешке болталаась у
колен. — Потому и задержался.

Щербак, безразличный к их разговору, быстро шагал впереди, а у Тимошкина после
сказанного Блищинским зашевелилась в душе глухая вражда к писарю. Он сам еще не
понимал, почему так, — ведь земляк говорил правду, да и сам Тимошкун хорошо
понимал все это. И тем не менее ему стало обидно и горько от этих напоминаний,
как он смутно чувствовал, именно потому, что они исходили от Блищинского — его
земляка, хорошо знакомого ему человека. Правда, писарь, кажется, был равнодушен
к их делам и замолчал, озабоченный собственной бедой. Он шагал широко и
торопливо. И Тимошкун стал постепенно отставать, так как ослабел и уже не хотел
идти рядом. Боец давно знал, что люди они разные и вряд ли удастся им
когда-нибудь сблизиться, как сближаются друзья. Сзади споро топал низенький
Здобудька, приклад его винтовки на длинном ремне почти касался земли. Ездовой
вскоре нагнал Тимошкина, и они пошли рядом.

Неприятное и противоречивое чувство разбередило и без того растревоженную душу
Тимошкина.

К Щербаку и Здобудьке боец уже привык, он видел их возле себя и в плохую и в
хорошую минуты и знал, на что каждый из них способен. Блищинский же был человек
иной, случайный в такой беде, к нему надо было присмотреться и держать себя
настороже. Правда, Тимошкун знал его с детства, еще мальчишками они обегали все
деревенские стежки, облазили все лесные чащобы. Но именно оттуда, с детства, и
зародилась у Тимошкина неприязнь к нему. Сколько потом, в армии, им ни
приходилось встречаться, Тимошкун никогда не чувствовал той искренней и светлой
радости, которая охватывает каждого при встрече с земляком на войне.

С низкого, осевшего почти на самую землю неба косо сыпался снег, студил лицо
резкий ветер, по-прежнему ноющая боль в пробитой ладони донимала Тимошкина. Он
все больше отставал, а Блищинский, не оглядываясь, торопливо шагал и шагал, пока
не догнал Щербака. Так они и пошли впереди: Иван — развалистой широкой походкой
здравяка, Блищинский — по-утиному переваливаясь с ноги на ногу, в перешитой
офицерской шинели, с сумкой на боку. Крепкие и здоровые, они изредка
переговаривались, Блищинский, кажется, начал в чем-то убеждать Щербака,
показывая рукой в сторону от того направления, куда они шли. Тимошкун знал, что
он не доверится Ивану и будет пытаться сам командовать, распоряжаться — всем
навязывать свою волю. Блищинский с детства привык верховодить, стараясь
опережать других, если это было выгодно ему, и подстраиваться к тем, кто был
сильнее. Теперь он быстро определил, что из троих в этом поле значительнее всех
Щербак, что он тверже и, наверное, смелее остальных, и потому и начал искать
сближения с этим молчаливым парнем. Тимошкина он уже не принимал в расчет, ибо
тот хотя и земляк, но был слабоват, моложе, ранен и для него, сержанта, мало что
значил.

Спустя какое-то время, боязливо оглядываясь, прошел вперед и Здобудька.
Тимошкун теперь шагал последним. Он устал, все больше отставал, и обида, как
боль, тихонько точила его изнутри.

Бывает же так в жизни, и особенно, пожалуй, на войне, что чужой, незнакомый
человек станет тебе роднее родного, а старый знакомый по какой-то причине
утратит все свои привлекательные качества. Тимошкун очень хорошо понял это за
долгое время своего знакомства с Блищинским и полгода фронтовой дружбы с Иваном.
Нет, сейчас он не обижался на наводчика и ни за что не сказал бы ему о своих
переживаниях: он знал, что Щербак никогда не оставит его в беде, поможет, а если
ранят — вынесет. Но, оставшись сзади, один, он все сильнее чувствовал, как от
обиды щемит внутри, и все потому только, что в спутники к другу навязался вот
этот Блищинский.

Как ни старался Тимошкун шагать быстрее, он все же отставал, а те двое, занятые
разговором, кажется, и не замечали этого. Правда, он понимал, что идти надо
быстро, иначе, если они не выберутся до рассвета, завтра им придется туда.
Однако от этого сознания ему не было легче. В нем росло какое-то
непонятно-тревожное чувство, и казалось, что принес его с собой писарь
Блищинский.

Часто случается на войне, что гибнет самый хороший, самый смелый и всеми
любимый парень, а какого-нибудь задибу, себялюбца или подлеца не берет ни
болезнь, ни пуля. Так случилось и с друзьями Тимошкина. Много их было — скромных
и славных его земляков, с которыми провоевал он два партизанских года, но вот на
пороге заветного освобождения один за другим погибли лучшие его товарищи. А

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
Блищинский выжил. В то время он тоже был с ними в лесу, и нельзя сказать, чтобы прятался – скрываться там было негде, – просто ему везло. И потом, уже в армии, Тимошкина со многими, может быть, навсегда разлучила безжалостная военная судьба, а с этим пришлось служить в одному полку и теперь вот очутиться рядом.

Тимошкин не сразу раскусил его, когда-то думал: может, ему только кажется, что Блищинский плут, а на деле он, может, и ничего себе парень? Нескладно это устроено в жизни, что и плохое и хорошее познается дорогою ценой, через боль неудач и ошибок. Некогда они жили в одной деревне. Хаты их не то чтобы стояли рядом, ровесниками они тоже не были (когда Тимошкин пошел в первый класс, Блищинский учился в четвертом), но в их деревушке ребятишек было немного, и друзей выбирать не приходилось. Поэтому с раннего детства Володя с Гришкой вынуждены были играть вместе, вместе летом бродили по лесу, а зимой за три километра ходили в школу.

Кроме как о себе, Блищинский ни о ком никогда не думал. Тимошкин был нужен ему, чтобы помогать пасти гусей, присматривать за кротовыми норами, в которые они ставили ловушки; чтобы воровать у отца табак – Гришка тогда уже начинал украдкой курить. Отец его в семье мало что значил, в доме всем распоряжалась мать – упрямая, сварливая женщина, которая замуштровала всех – и мужа, и троих дочерей, и только Гришка, благодаря своей хитрости, не поддался ей. Эта приобретенная с детства изворотливость и себялюбие на всю жизнь стали его отличительным качеством.

Володя во всем тянулся за Гришкой и старался, чем мог, угодить товарищу. Тот же, заметно было, не очень дорожил их дружбой и причинял немало обид Тимошкину. Самый последний и самый памятный случай и теперь еще тлеет в душе Тимошкина незатухающей неприязнью к земляку.

...Это произошло в одну из далких довоенных зим. Тимошкин учился тогда в шестом классе, Гришка – в девятом. Учился Блищинский отлично, считался активистом, был членом учкома и незадолго перед тем вступил в комсомол. На собраниях и митингах он часто выступал от «имени школьников» и складно читал по бумажке заранее составленные речи. Среди его друзей в то время появились парни постарше, с ними он сблизился больше, и их дружба с Тимошкиным едва теплилась. Тимошкин понимал, что становился ненужным ему, и не очень-то набивался в приятели, но в школу они ходили все-таки вместе. Обычно Тимошкин заходил к нему утром, ждал, пока Гришка оденется, позавтракает, и потом напрямик, через замерзшее болото они отправлялись в mestechko.

Однажды, уже перейдя болото, ребята выбрались на укатанную санями дорогу и неторопливо подходили к mestechko. Вдруг возле одинокой придорожной вербы Тимошкин увидел в колее кошелек (перед тем их обогнали две пары саней с незнакомыми людьми, ехавшими, очевидно, на базар). Нахodka, конечно, заинтересовала ребят, Гришка сразу выхватил кошелек у товарища и начал потрошить его. Там оказался паспорт, какие-то бумаги, пятьдесят рублей денег. На ходу просмотрев все это, Гришка сунул кошелек в карман. Тимошкин сказал, что надо отнести его в милицию или отдать в учительскую, но Гришка только рассмеялся и хлопнул товарища по спине. На большой перемene он кивком головы вызвал Тимошина из класса и повел в магазин. Там Гришка купил конфет, папирос, сунул младшему другу пятерку и сказал, что документы из кошелька надо скечь. Тимошкин долго не мог решиться на это, – он боялся и ненавидел себя и Гришку, но хитроватая самоуверенность Блищинского сбивала его с толку. Тимошкин все же запротестовал, они поссорились и в конце концов договорились, что кошелек, документы и деньги сдадут в милицию.

Гришка, однако, сделал иначе. На следующий день он снова встретил Тимошина и сказал, что отнес в милицию только кошелек и паспорт. Тимошкин струхнул, а Блищинский, смеясь, заверил парня, что все будет в порядке, надо только молчать о деньгах.

И вот через день-два, перед самым звонком на урок, в школьном коридоре появился какой-то дядька в тулупе, директор, классный руководитель. Все они направились в девятый "Б", где учился Блищинский. У Тимошина от страха екнуло сердце – неужели узнали? Он хотел было убежать, но, прежде чем сделал это, сквозь открытую дверь услышал, как дядька благодарил Гришку. Оказывается, дядька махнул рукой на деньги (черт с ними, пятьдесят рублей! – ему дороже были документы) и в виде вознаграждения за «благородный» поступок он дал Гришке червонец. Потом об этом поступке Блищинского написали в стенной газете, учителя хвалили парня, а товарищи смотрели на него с легкой завистью. Идя домой в тот день, Гришка курил папиросы «Красная звезда» и посмеивался. Удивленный таким неожиданным исходом, Тимошкин возмутился, высказал ему все свои обиды на него. Блищинский обозвал его дураком, приказал молчать и даже пригрозил расправой.

Несколько дней после этого Тимошкин ходил словно в тумане, по ночам вскрикивал и даже плакал во сне. Днем не раз подходил он к двери учительской, но так и не

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru осмелился войти туда, чтобы рассказать, как все это случилось. Блищинский же, наверно, догадывался о его переживаниях и вел себя угрожающе холодно.

Дорого обошлись парню его уступчивость и нерешительность.

Незадолго до начала войны Гришка с родителями перебрался на жительство в местечко. У Тимошкина тем временем появились друзья получше, и он впервые испытал настоящую мальчишескую дружбу. С Гришкой они тогда встречались редко. Еще через год Блищинский окончил десятый класс и поступил в медицинский институт. К тому времени неприязнь Тимошкина к нему уже притупилась, и только в памяти живы были все его злые проделки.

Когда началась война и местечко заняли немцы, явился из города и Гришка. Несколько месяцев он сидел на шее у матери, болтался по улицам и присматривался к новым порядкам. Отец его, мобилизованный в начале войны, где-то пропал (может, отступал на восток, а может, погиб), а к матери вскоре перешел жить примак из окруженцев. К зиме, когда начала создаваться полиция, примака тоже втянули в эту свору наемников. Полицаи из него был никудышный, он беспросьбно пил самогон, дважды пьяный терял оружие, и начальство прогоняло его со службы. Но полицейские были нужны, и его брали снова. Зимой же в местечке организовалось интендантство: школу и все лучшие постройки немцы заняли под склады. В помещении сельмага какие-то приезжие прислужники открыли мастерскую по ремонту амуниции и красильню, где окрашивали различные военные вещи и писали вывески. Эти вывески и разные объявления на немецком и белорусском языках развозились по всей округе, и вот в этой красильне к весне оказался и Гришка Блищинский.

Почти год черной и белой краской выводил он на фанере, жести и досках замысловатые готические литеры, свастику, стрелки и разные указатели, на что были большие любители немцы. Почти два года Блищинский получал немецкий паек, какую-то плату в рублях и марках. Когда же разгорелась партизанская война и на местечко трижды совершили налет партизаны, Гришка, видно, сообразил, что в немецкой мастерской ему не отсидеться. В эту пору почти все его ровесники и даже ребята помоложе было либо связаны с партизанами, либо по возможности помогали им. И Гришка решился. Он заявил партизанам, что хочет перейти к ним, и те потребовали доказательств его преданности советской власти. Он заманил домой примака-полицая, который в то время дневал и ночевал в комендатуре, опасаясь расправы, с ним еще одного такого же пьяницу, напоил их, обезоружил и через связных переправил в лес. Полицейских, конечно, расстреляли, а Гришке поверили, и он с оружием, отнятым у отчима, пришел в отряд. Тимошин в это время тоже был там и, слушая, как некоторые партизаны хвалили Блищинского, возмущался. Он-то отлично понимал фальшивую душу своего бывшего друга и не скрывал этого, только в то блокадное время некогда было разбираться в душевных тонкостях нового партизана.

Оказавшись потом в запасном полку, Гришка начал новую жизнь с того, что «разоблачил» одного фронтовика-сержанта, который без разрешения отлучался из части. Сержант, разведчик по специальности, еще в 1941 году награжденный орденом, обычно после вечерней поверки уходил из казармы на станцию, где его ждала девушка. До подъема он возвращался и занимал свое место на нарах. Однажды, будучи дневальным, Блищинский выселил его. Некоторое время он об этом никому не докладывал, молчал, поджидая удобного случая. И вот состоялось собрание, на которое пришли замполит командира полка, командир батальона и другие офицеры. Тут Блищинский, взял слово, выступил с пламенной речью, разоблачил сержанта, которого в тот же вечер отправили на гауптвахту. Начальство заметило Блищинского, – его «непримиримость» к недостаткам и умение красиво говорить многим понравились, и вскоре он стал секретарем ротной комсомольской организации.

В свободное от занятий время Блищинский нарисовал портрет командира роты. Командир на портрете, конечно, получился красивее, моложе и мужественнее, чем был на самом деле. Он не остался безразличным к такому подарку. Не прошло и недели, как рядовой Блищинский, расположившись в ленинской комнате, уже рисовал плакаты и оформлял наглядную агитацию, в то время как остальные бойцы отрабатывали на жаре самую трудную тактическую тему – стрелковая рота в наступательном бою.

Прибыв вместе с пополнением в стрелковый полк, Блищинский не попал в батальон. Очевидно, как художника, его взял к себе начальник артиллерии – тому нужно было красиво чертить схемы и писать, а Блищинский уже был в этом деле признанным мастером. Так он и прижился при штабе – носил офицерам завтрак, по утрам поливал из котелка на руки, заботился об уюте их землянок, а в остальное время возился с бумагами. И со всем этим он, видно, справлялся неплохо. Когда началось наступление и Тимошин с простреленной голенью попал в медсанбат, Гришка уже имел медаль «За боевые заслуги», к ней вскоре прибавилась новая – «За

Фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
освобождение Белграда», в который он въехал на штабной машине, в то время как
его земляк ковылял на костылях в санбате.

Тимошкин видел все это, возмущался в душе, но молчал. Он думал – черт с ним, каждому свое! В конце концов, не он, так кто-нибудь другой займет писарское место в штабе, потому что нужны и писаря. Опять-таки разве хорошо это – ходить по начальству, доносить на товарища, все же как-никак они земляки. К тому же Тимошкин не имел с ним никаких отношений, у него были свои хорошие друзья и свои заботы. Но вот незадачливая военная судьба свела их на одной стежке, и Тимошкин думал теперь, что вряд ли из этого выйдет что-либо путное.

3

Идти становилось труднее, вьюга усиливалась. Они брали по раскопанному с осени картофельному полю, сапоги то и дело скользили, ноги подворачивались на комьях, ветер сек снегом по лицам и слепил глаза. Снег, набиваясь за воротник, таял, было неуютно и холодно. Щеки все сильнее деревенели от стужи, у Тимошкина мерзла и болела обмотанная бинтами рука. Рукавицы он потерял где-то в бою и теперь здоровую руку прятал за пазуху или в карман. Но тогда сползал с плеча ремень автомата, надо было придерживать его, и пальцы так коченели, что едва сгибались.

Все вокруг сузилось, обособилось от мира дрожащею сеткой снегопада, и боец с трудом узнавал впереди тусклые тени спутников. Он шел по их следам, уже присыпаным снегом, и думал: хоть бы не споткнуться, не поскользнуться – вряд ли он найдет в себе силы встать. Погода немного обнадеживала. Хоть и трудно было идти, но в такое время легче было миновать передовые немецкие позиции, и если они где-нибудь нечаянно не наткнутся на фрицев, то завтра выйдут к своим.

Вверху сновали, мелькали снежинки, кружила вьюга, вились и вились снизу бесконечные цепочки следов. У Щербака след широкий и ровный, сапоги большие (сорок четвертый размер – таких больше никто не носил в батарее), у Блищинского же ступни заметно вывернуты наружу, носками в стороны, левой он, будто прихрамывая, загребает снег. Несколько в отдалении были видны следы ездового Здобудьки.

Следы то и дело путались, сливались со снегом. Тимошкин сбивался с них, сам не замечая того. Видно, боец начал дремать на ходу и не увидел, как товарищи остановились, чтобы передохнуть и дождаться его. Чуть не столкнувшись с ними, Тимошкин от неожиданности вздрогнул, как это бывает, когда человека внезапно разбудят.

– Устал, говоришь? – спрашивал Щербак, стоя перед ним весь усыпанный снегом.

– Ничего, – сказал Тимошкин, поймав в голосе друга еле заметные нотки сочувствия. Он приободрился, вдруг поняв, что в таких обстоятельствах совсем ни к чему обижаться и ждать от товарища многоного. Однако Щербак, шагнув к нему, тронул рукой автомат.

– Дай сюда, – уверенно, будто выполняя свою обязанность, сказал он и взял у бойца оружие. На спине у наводчика висел вещмешок с клином, на правом плече – автомат Скварышева, теперь на левое он вскинул еще и автомат Тимошкина. Блищинский стоял рядом, отвернувшись от ветра и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

– Вот так, против ветра держать. Ветер – наш ориентир, – с привычной самоуверенностью сказал писарь.

Снова они пошли полем, низко нагнув головы от ветра. И снова Тимошкин начал понемногу отставать, а Щербак, Блищинский и Здобудька тусклыми тенями шевелились впереди в снежных сумерках. Хорошо, что на земле оставался их след и Тимошкину не очень нужно было всматриваться, чтобы не потерять направления.

Измученный ходьбой, он не сразу заметил, что впереди что-то случилось. Кажется, кто-то испуганно вскрикнул, затем совсем близко пропрещала пулеметная очередь, с ней сразу же слилась другая, и серую тьму над головами прорезали зеленые молнии. Это произошло так неожиданно и так близко, что, еще не поняв, в чем дело, Тимошкин распластался на снегу. И тотчас совсем рядом в заснеженном небе рассыпался огненный букет ракеты. Ее близкий дрожащий свет, недолго продержавшись в снежной выси, ярко осветил поле и три метнувшиеся в сторону фигуры. По зеленоватому дрожащему снегу они быстро бежали куда-то в разорванную тьму ночи. Как только ракета догорела и в небе сомкнулась тьма, Тимошкин вскочил и рванулся за товарищами.

Несколько пулеметных очередей разрезало ночь зелеными линиями трассирующих пуль, вспыхнула вторая ракета. Из-под ног бойца испуганно метнулась его тень. Он упал, потом в сплохах догоравшей ракеты вскочил, оглянулся, – кажется, за ним не гнались.

Какое-то время пулеметы еще били в ночь, но это было теперь в стороне – бойцы уже успели немного отбежать. Тимошкин понял, что стреляли из танков, звуки были глухие и гулкие, словно отдавались в бочке. Потом как-то неожиданно все смолкло,

Фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
– видно, пулеметы расстреляли по ленте и утихли. Позади опять вспыхнула ракета, потом две сразу, но это уже было далеко. В небе белыми мотыльками носились снежинки. Впереди замелькали тени, и боец присел, взглядываясь в просветлевшую тьму. Когда ракеты погасли, стало совсем темно, и ослепленный ими Тимошкин, с трудом переставляя ноги, побежал туда, где показались люди.

Он долго бежал, а товарищ все не было, и Тимошкин уже начал тревожиться. Но вот из темноты послышалось приглушенное «эй!». Тимошкин взгляделся – впереди чернел голый полевой куст и возле него стоял человек. Тимошкин двинулся туда. Это был Щербак, он ждал товарища, отдал ему автомат и спросил:

– Здобудьки не видел?

Под самым кустом, в голых ветвях которого ветер высвистывал свой бесприютный мотив, сидел на снегу Блищинский. Тимошкин ответил, что Здобудьки не видел, потому что, когда раздались выстрелы, ездовой шел впереди с ними.

Пока Щербак взглядывался в ночь, Тимошкин подошел к кусту и повалился в снег. Усталость окончательно сковала все его тело, не хотелось ни думать, ни даже шевелиться. Рядом, опустив голову и тяжело дыша, сидел Блищинский.

– Понимаешь, чуть не в самые лапы угодили! – прерывисто заговорил он. – Хорошо, что этот обозник крикнул. Вот черт побери! Не хватало вчерашнего.

Щербак, всматриваясь в темноту, на несколько шагов отошел от куста и тихонько позвал:

– Эй, Здобудька!

– Напрасно! – сказал из-под куста Блищинский. – Не услышит.

Тогда Щербак крикнул громче.

– Ты что, сдуруел?! – вдруг злобно зашипел писарь и вскочил на ноги. – А ну, замолчи!

Он бросился к наводчику, но тот, не обращая на него внимания, смотрел в ночную тьму и слушал. Тимошкин, конечно, понимал друга, – как было идти, оставив ездового под носом у немцев? Однако и ему от этого крика стало не по себе здесь, вблизи от врага. Правда, все думалось, что Здобудька вот-вот догонит и они пойдут вместе.

Но время шло, а ездового все не было. Ребята понемногу отдохнули. Щербак с Блищинским, стоя, всматривались и ждали, Тимошкин же сидел под кустом.

– Ну, хватит! – нетерпеливо сказал Блищинский. – Дорога каждая минута. Пошли!

Почувствовав себя командиром, он забросил за плечо автомат и ступал в снег, полагая, что остальные двинутся за ним. Тимошкин нерешительно поднялся, но Щербак по-прежнему смотрел, слушал и не трогался с места.

– Пошли, пошли! Чего стоять? Может, его уже в плен взяли? Слышь? – настаивал Блищинский.

– Да иди ты! – сердито бросил Щербак. – Иди! Кто тебя держит? – Он ловко поддал плечом автомат и пошел во тьму, туда, где их застигла стрельба.

Блищинский нерешительно потоптался на месте и выругался. Тимошкин, еще не пришедший в себя от испуга и усталости, начал застывать на ветру и мелко дрожал.

– Надо было ему идти! – с нескрываемой досадой в голосе заговорил писарь, от холода притопывая на месте. – Глупо погибнет, и только. Разве найдешь в таком буране?

От этих слов у Тимошкина снова защемило внутри. Конечно, погибнуть было очень просто, а найти ездового вряд ли удастся. Но все же старый Здобудька для них – свой, батареец, как-никак третий человек из взвода, уцелевший в этом разгроме. Как же было бросать его на гибель в тылу врага?

– А может, он там лежит раненый? – недружелюбно сказал Тимошкин. Блищинский удивленно остановился, перестав мять сапогами снег.

– Ну и что же? Ты его понесешь, раненого?

– А что ж, бросить?

– Ну конечно, бросить – плохо. Некрасиво, понимаешь, неэтично, – раздраженно замахал руками земляк. – Но ведь другого выхода нет. Будем беречь одного – все погибнем. Надо же логично смотреть на вещи.

Циничная откровенность Блищинского хоть и не была новой для Тимошкина, все же своим бесстыдством поразила бойца. Он знал, что никто у них в расчете никогда не сказал бы таких слов, все они в трудную минуту помогали друг другу. Так всегда было в бою, этого требовал воинский долг. Блищинский же говорил нечто совсем другое.

– Тут простая арифметика, – продолжал Блищинский. – Либо погибать четверым, либо одному. Что выгодней?

– Подлость это, а не арифметика! – сказал Тимошкин и сел в снег.

– Ну и дурак! – объявил Блищинский. – Как пробка! Был таким и таким остался.

Жизнь тебя, понимаешь, ничему не научила.

– Ты мудрец! Привык за чужие спины прятаться.

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– что? – Писарь круто повернулся к бойцу. – Где я за чужие спины прятался? Понимаешь, где? Ты что думаешь, в штабе так себе, одни хаханьки? Там люди не гибнут? Каждому свое, брат. Вон и я майора Андреева тащил. Но ведь был смысл! Мертвого же я не потащу. При всем моем уважении к майору. Понимаешь?

Чувствуя безвыходность положения, Тимошкин замолчал. Блищинский потоптался еще возле куста, а потом нехотя снял автомат и сел чуть поодаль. Может, с позиции своей собственной логики он был и прав, только Тимошкин не признавал такой логики. Здобудька не был его другом (этот ездовой вообще мало что значил в их взводе), но Тимошкин тоже не бросил бы его под носом у немцев. Не логика, а элементарное чувство товарищества руководило им, и даже если бы пришлось погибнуть и тому, кто спасал Здобудьку, такая арифметика все равно не убеждала.

Так, окоченевшие, они сидели в темноте, в напряженном ожидании вестей из ночи. Блищинский повернулся на бок и задумался. Тимошкин изредка взглядывал на него, не чувствуя в себе ни дружеского расположения к земляку, ни вражды – одно усталое безразличие владело им, будто Блищинского и не было рядом. Если бы даже что-то и случилось, земляк, пожалуй, и не понадобился бы Тимошкину, который никогда не надеялся на его помощь. Неизвестно, что чувствовал Блищинский по отношению к нему (видимо, то же самое), но внешне оба они были сдержанно спокойны. Все же их объединяла одна беда, из которой им приходилось выбираться вместе.

У них не было часов, и они не знали, сколько времени шли и давно ли исчез во мраке Щербак, только, казалось, просидели они на снегу немало. Сильно продрогнув, Тимошкин встал и начал греться, размахивая рукой. У него мерзли ноги в отсыревших сапогах, а раненая рука совсем омертвела. Блищинский более терпеливо переносил холод и, поеживаясь, все поглядывал в ту сторону, куда ушел Щербак.

Снег не переставая падал и падал с неба, медленно тянулось время, а Щербака со Здобудькой все не было. Тимошкин уже вытоптал стежку под этим колючим кустом, проглядел все глаза, но никто так и не появлялся. В голову полезли разные дурные догадки: не попал ли в западню и Щербак? Не нарвался ли где на засаду? А вдруг несет раненого Здобудьку? Иль заблудился? Может, надо идти искать его или ждать здесь? Все это тревожило Тимошкина, и он не знал, что делать.

Блищинский сидел и молчал, но, видно, наконец и его проняла стужа. Вскочив, он попрыгал на месте и заговорил недовольно и ворчливо:

– Ну вот, не послушался меня и теперь где-то влип. Пошли дурного, а за ним другого. Теперь замерзай тут!

Тимошкин молчал, поглядывая по сторонам, и все слушал, а тот продолжал свое:
– факт, попался где-то. Или заблудился.

Тимошкин не отвечал. Ему не хотелось спорить с земляком, он уже знал, что тот скажет дальше. Но Блищинский сказал неожиданное:

– А что, если они поодиночке к своим рванули? А? По одному, конечно, сподручнее...

– Ты что?.. Спятил?

Блищинский постучал каблуком о каблук и с уверенностью, которая никогда не оставляла его, рассудительно пояснил:

– Всегда выходит по-моему. Понимаешь? Я говорил ему: не ходи. Он пошел. Теперь одно из двух: либо у немцев, либо драпанул, а нас бросил. Третьего не дано. Соображаешь?

– Что соображать? Он же – не ты.

Блищинский притворно засмеялся, потом оборвал смех и сказал:

– Наивная уверенность. А может, он затем и пошел, чтоб в плен сдаться.

– Что ты плетешь? Ты бы подумал сперва, что говоришь.

Тимошкин возражал писарю, однако тревожная подозрительность Блищинского уже заронила в бойце беспокойство. Конечно, он, даже умирая здесь, не подумал бы, что Щербак пошел сдаться в плен или нарочно оставил их. Но ведь мог он и заблудиться в такой темноте и пройти мимо куста. В самом деле, сколько же можно ждать его здесь и как помочь ему и себе?

А Блищинский, кажется, решил доконать земляка:

– Ты послушай: если мы до утра не выберемся, то завтра нам крышка. Понимаешь?

Тимошкин чувствовал себя неуверенно и не знал, что предпринять. Где-то рядом были немцы, неизвестно, где проходил фронт, нигде ни выстрелов, ни ракет, все вокруг погрузилось в темень, затихло, только ветер сыпал и сыпал снег. Его уже навалило много, по щиколотку, под ним скрылась трава, а он все не переставал идти.

Тревога костлявыми пальцами скимала душу бойца, не давала стоять на месте. Что еще можно было придумать? Блищинский тоже заметно нервничал, и Тимошкин начал понимать, что получится, видно, так, как утверждал писарь: и Щербака они не дождутся, и себя погубят.

Наконец Блицинский поддал плечом автомат.

– Ну, ты как хочешь. Я пошел.

и быстро зашагал по снегу прочь от земляка, в снежную темноту ночи.

На какое-то время Тимошкин растерялся, прикусил губу, у него не хватало решимости остановить сержанта, упрашивать же его он не хотел и остался один.

Это было скверно – оказаться совсем одному. Но он все же подождал немножко, с болью, тоской и отчаянной надеждой всматриваясь туда, где пропали Щербак и Здобудька. Всеми силами своей души парень жаждал, чтобы друг появился, отзвался, хоть чем-нибудь напомнил о себе. Но время шло, а никто так и не появлялся. Тогда, мысленно ругаясь, проклиная немцев, метель и своего земляка и то и дело оглядываясь, Тимошкин пошел по едва заметному на снегу следу Блищинского.

4

Одиноко ковыляя в этой снежной ночной круговорти, Тимошкин с особой силой почувствовал, что Щербак – его самая большая утрата сегодня. Еще недавно, едва только утих бой, ему казалось, что страшное уже позади. Хотя их и осталось всего трое, но среди них был Щербак – как всегда молчаливый, строгий, решительный. Он смотрел, он вел, он думал за всех. Теперь же Тимошкин оказался один: ни Здобудьки, ни славного, хорошего Ивана. Блицинский же не был нужен ему – ушел, и боец не жалел о том.

И все же он шел по следу писаря – шел, так как знал, что тот хитер и всегда найдет выход из всякой беды. К тому же на сумке у Блищинского был компас.

Следы едва проступали из-под снега и вели через огромное поле, пересекли заснеженный проселок, едва заметный возле телефонных столбов с гудящими на ветру проводами. Затем, задыхаясь, Тимошкин перешел небольшой пригорок, миновал несколько соломенных скирд и снова поплелся полем.

Ветер ослабевал, снежинки понемногу редели, — казалось, метель утихала. Стали заметны одинокие деревья, кое-где в поле проглянули полоски виноградников с натыканными для лозы колышками; какие-то строения он обошел издали — так вели осторожные шаги Блишинского. И все это время его не покидали мысли о Шербаке.

осторожные шаги Блицинского. И все это время его не покидали мысли о щербаке. Месяц назад возле дунайской переправы погиб заместитель командира батальона капитан Батов. Хоть и не принято о покойнике думать плохо, но он действительно был чрезмерно криклив и не всегда справедлив, этот офицер. Однажды, еще в Трансильвании, батальон задержали две немецкие самоходки, замаскированные на окраине деревни. Не жалея снарядов, прямой наводкой они с полчаса расстреливали нашу пехоту. До деревни было километра полтора, подбить самоходки из сорокапяток нечего было и думать, а другой артиллерией вблизи не было. Роты залегли за насыпью вдоль железной дороги, наступление приостановилось, ждали, что решат командиры.

И тогда Батов вызвал взводного, лейтенанта Пищука, и приказал ему: на рысях выско чить с пушкой из-за насыпи, подъехать к груше, одиноко стоявшей в поле как раз посредине между деревней и дорогой, и прямой наводкой расстрелять самоходки. Пищук был молод и неопытен, спорить с начальством не умел, козырнул и побежал к пушкам.

Когда он объявил расчету задачу, бойцы повесили носы. Глянув в поле, каждый из них понял, что жить осталось недолго. Легко было Батову приказывать расстрелять самоходки, а как сделать это, если до груши добрых восемьсот метров, — попробуй доберись до нее под прицелом двух самоходок. Лейтенант объявил приказ и по настроению бойцов понял, что надеяться на успех нечего.

И тогда Иван Щербак скинул шинель, подхватил автомат, взял у Кеклидзе противотанковую гранату и полез в трубу, под насыпь. На той стороне, по канаве, он прошмыгнулся к борозде в пахоте и по ней торопливо пополз к деревне.

Весь батальон следил из-за насыпи за этой отчаянной вылазкой. Щербак полз долго, почти не останавливаясь и не отдыхая. Из деревни, к счастью, его не заметили, самоходки изредка били по насыпи, а его не трогали. Хорошо еще, что немецкой пехоты в деревне не оказалось, и он, добравшись до околицы, скрылся за белыми, увешанными связками красного перца домами.

Какое-то время Иван не подавал признаков жизни. Самоходки изредка были по дороге, ранили командира шестой роты, одного связиста. Хлопцы начали было уже думать, что пропал их Щербак, как в деревне вдруг громыхнуло и над домами заклубился дым. Одна самоходка загорелась, а другая, почуяв опасность, взревела мотором и подалась прочь. Бойцы выскочили на дорогу и направим к через поле бросились к строениям. Сорокапятчики прицепили к передкам пушки и тоже понеслись туда. Подкатили они огородами к небольшому садику, где дымилась самоходка, и видят: на погребке, в котором венгры держат вино, сидит Щербак, перевязывает себе руку и ругает немца, который, удирая на самоходке, все же царапнул его пулей.

Вот такой был щербак.

О прежней жизни его Тимошкин знал мало. Щербак не любил говорить о себе, больше молчал да слушал других. А поговорить в расчете были мастера, каждый старался рассказать что-нибудь, и все при этом обращались к наводчику. Слушатель из него был отменный: делает что-нибудь или сидит на станине, курит и с привычной серьезностью слушает того, другого или всех сразу. (Может, еще и за эту способность терпеливо выслушивать их батарейцы уважали наводчика.) Из его прошлого было известно, что парень он городской, учился на фрезеровщика, имел четвертый разряд и очень дорожил этой специальностью. В начале войны он ушел в армию вместе со старшим братом, который погиб в первом же бою. Возможно, именно по этой причине Щербак стал не по годам строг, редко смеялся и относился ко всему с неюношеской серьезностью.

Он не очень любил книжную науку, окончил всего шесть классов, но в работе и в людях разбирался неплохо. Если он копал огневую, то никто рядом с ним не хитрил, не волынил – все заражались его трудолюбием. А если кто и начинал подлениваться, то Иван подзывал его и говорил: «Подпрягайся. Полечу тебя, лодыря. Я выбрасывать – а ты подбирать». Тут уже лентяю приходилось попотеть!..

И вот как-то нелепо Тимошкин потерял его. Невозможно было думать, что он погиб, скорее всего пошел другой дорогой, но боец не мог примириться с тем, что друга не будет рядом. Через каждые пять минут он оглядывался, прислушивался, думал: а вдруг где-нибудь покажется в темени крутоплечая фигура Ивана. Тимошкин уже начал жалеть, что послушался Блищинского и не пошел по следу Щербака: может быть, отыскал бы его. Правда, след быстро занесло снегом, а в то время, когда он еще был виден, теплилась надежда, что Иван скоро вернется.

Снег все редел, редел и незаметно совсем перестал сыпать. На заснеженной земле стало очень светло, во все стороны широко раскинулся спокойный зимний простор, словно напоказ выставил в ночи все черные пятна земли, бурьяна, виноградники, одинокие силуэты деревьев. И только даль на горизонте под темным нависшим небом терялась во мраке. Мороз крепчал, ветер рвал полы шинели, и колени мерзли от стужи. Лица своего Тимошкин, кажется, не чувствовал, может быть, отморозил щеки, здоровую руку прятал за пазуху, раненая же застыла и мучительно ныла.

Следы шагов Блищинского стали заметнее. Они привели бойца к какому-то земляному валу, белевшему на равнине невысокой крутой хребтовиной. Блищинский, как это видно было по следам, взобрался на вал, очевидно, осмотрелся и уже потом, спустившись, пошел вдоль него. Тимошкин на вал не полез, а тихо побрел в ту сторону, куда повернул земляк.

Он шел, пока вдалеке не появились деревья, там была дорога. Опасаясь попасть в беду, Тимошкин подготовил автомат и не спеша вышел из-за вала, который тут обрывался. Кругом было тихо – глубокая зимняя ночь белесой пеленой укрывала землю. Возле дороги в канаве лежал на боку перевернутый автомобиль, какой-то груз густыми пятнами чернел на снегу рядом. Ничего подозрительного там, кажется, не было, и боец, осторожно поглядывая вокруг, двинулся к дороге.

Он уже подходил к автомобилю, как вдруг ему показалось, что там кто-то есть. Тимошкин остановился, всмотрелся: действительно, из-за машины торчал короткий ствол автомата. Но вот ствол дрогнул, опустился, и на снег ступил человек, который потом злобно плюнул и закинул за плечо автомат. Это был, разумеется, Блищинский.

– Ну что, дождался? Так где же дружок твои?

Тимошкин уже не думал догнать его, увидеть снова; но одиночество, пожалуй, хуже врага. И боец в тот момент невольно обрадовался: хоть и никудышный он человек, его земляк, но казалось, вдвоем будет легче. Тимошкин не ответил ему (о чем было говорить!), и Блищинский, очевидно, понял это как молчаливое признание им своей ошибки.

– Слышал бы меня. А то уперся, – сказал он, выйдя из-за машины.

И тут Тимошкин увидел возле кабины труп в длиннополой шинели. Писарь нагнулся, деловито ухватился за ногу убитого и начал стягивать валенок. Второй, уже снятый валенок стоял рядом, и ветер шевелил брошенную на снегу портнянку.

– Примерз, что ли! – говорил Блищинский. – А ну, помоги, что обходишь?

Тимошкин остановился поодаль.

– И не противно тебе? – сказал он.

Валенок, наверно, сидел туго, труп волоком тянулся по земле, шинель на нем подворачивалась. Блищинский уперся в него сапогом.

– Ну уж сказал: противно! На войне ничто не противно. Ноги морозить лучше?

Наконец, едва не упав, он сорвал с ноги валенок, присел на ящик, снял свои кирзовые сапоги и быстро переобулся. Валенки действительно были хорошие, с обшитыми кожей носками и кожаными подошвами. Блищинский довольно притопнул ими и запахнул полы шинели.

– Валеночки первый сорт. Спасибо покойнику, теперь ноги как в печке будут. Понимаешь?

На дороге никого не было. Они перешли ее и снова направились вдоль точно такого же, как прежний, вала. Блищинский, как обычно, держался уверенно, что-то пожевал из бумажки, потом остановился, вынул из-за пазухи немецкую, обшитую войлоком флягу и отвинтил пробку.

– Видишь? Ром. Наверно, французский. – Он коротко хихикнул. – Ин вина веритас. Понимаешь? Да где тебе понять: истина в вине. Запомни.

Потом, запрокинув голову, немного отпил, вытер ладонью губы и, завинчивая флягу, сказал:

– Вот хорошо! Враз селезенка потеплела. Тебе дать? На, глотни. Только немного.

Тимошкин нерешительно взял, отвернулся к губам настывшее горлышко, глотнул раза два. Особого наслаждения он не испытал, но ароматная жидкость действительно жаром опалила в груди, сразу стало теплее. Боец отдал фляжку и, чувствуя, как прилив какого-то нового, непривычного чувства наполняет его, зашагал рядом. Ему вдруг с особенной силой стало тоскливо оттого, что в такой беде он впервые остался без друга. «Эх, Ваня, Ваня!» – шептал он, оглядываясь, но сзади никого не было. Ваня, видимо, исчез навсегда. Блищинский широко шагал в новых валенках. Тимошкину было трудновато угнаться за ним, но он, как мог, старался больше не отставать. Разговаривать ему не хотелось, два горячих глотка как-то совсем расслабили бойца. Блищинский, наоборот, сразу оживился и на ходу вплотную приблизился к земляку.

– Чего такой кислый? А? Что дружок пропал? Плюнь ты, какой может быть друг на войне? На день-два. Потом все равно разлука: кто в Могилевскую губернию, кто в госпиталь. Понимаешь?

Тимошкин молчал, он знал, что Блищинскому не понять его переживаний, да боец и не нуждался в этом.

– А вообще ты дурень. Меня бы держался. Я бы тебе не дал пропасть. Что, думаешь, силы мало? Думаешь, какой-то там писарь!.. Как бы не так. Понимаешь? У меня власти не меньше, чем было у майора Андреева. Недавно вот в артмастерской ездовой выбыл. Шепнул бы Борьке Павловичу из строевой части, сразу переписал бы тебя – и концы в воду. Небось не тащился б теперь черт знает где. Понимаешь?

Тимошкин неприязненно огрызнулся:

– Почему же ты тащишься? Умник такой...

– Я? Это дело случая. Понимаешь? Что я, не соображаю? Думаешь, ради какой-то медали на глупость пойду? Дудки. Плевал я на медаль. Мне жизнь дороже медали. И если бы не случай, я теперь бы да-а-леко был. И немцам не дался бы.

– Что же тебя удержало?

– Что, что? Гриценко – ординарца Андреева – позавчера подстрелили. Понимаешь? И надо же было ему, дураку, налететь на пулю. Так майор Андреев утром заходит в землянку, говорит: «Пойдем проветримся, а то ты тут дымом провонял». Ну что, думаю, пойду. Надо же и мне иногда в войсках показаться. Может, за полдня ничего и не случится. Пошли в третий батальон, и вот тебе на – как раз прорыв. Майору две пули в живот – и взятки гладки. А я влип. Вот так, понимаешь?

Он быстро хмелел. Движения его стали порывисты, суэтивы, левая рука широко отмахивала в такт шагам. Осторожности, однако, он не терял и, разговаривая, бросал быстрые, короткие взгляды по сторонам. Кажется, молчаливость земляка пробуждала в писаре желание исповедоваться, и, видимо потому, что здесь не было свидетелей, он перестал скрытничать и дал волю словам.

– Мы же с тобой земляки, должны понимать друг друга, – говорил он, на ходу что-то жуя. – Правда, когда-то не того... Не слишком ладили. Но пустяки – известно, мальцы были. А теперь? Надо же трезво смотреть на все. Главное – выжить. Ты не думай, что я сержант, так мало что смыслю. Хе, черта с два! Соображать надо. Под танк бросаться действительно немного ума надо. Отдать концы – дело нехитрое. Но штарб цур рехтен цайт [умей умереть вовремя (нем.)], как писал Ницше. Понимаешь? В этом вся соль.

Сволочкой человек! Он заслуживал того, чтобы дать ему по морде, но Тимошкин, скав зубы, терпел и слушал. Бойцу захотелось узнать земляка до конца, чувствовалось: он разболтался и должен открыться.

– В полку что? В полку, хоть бы и в штабе, не сладко. Не пули, так снаряды, бомбы. Вот бы в корпус затесаться. Это дело! Понимаешь? Была у меня мыслишка... Если бы не этот проклятый прорыв. Но ничего. Может, даже и лучше. Ты мотай на ус: выйдем – на передке не задерживаться. Главное – поглубже в тыл. А там – присмотреться. Ты вообще возле меня держись, я все устрою. Не пропадешь! Понимаешь?

– Что, в тыловые части лезть? – с издевкой спросил Тимошкин. Но Блищинский только удивился:

– Ну и что ж? Полезем. Подумаешь! Рапортичку напишем: так, мол, и так, полк

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru разбили, одни остались. Стояли насмерть, дрались до конца...

— Эх ты! — сказал Тимошkin, уже не скрывая своего презрения.

— Что? Что я?

— Сволочь ты, вот что!

Блищинский фальшиво заржал и окинул бойца холодным, почти ненавидящим взглядом.

— Ах, вот как! Может, донесешь, когда выйдем? А? Плевал я на это! А свидетели где? Кто слышал? Если на то пойдет, я скажу не такое. Скажу, что ты у немцев в плена был и давал показания о наших войсках. Ну? Что? А-а, не нравится? Вот так!

— Он засмеялся и уже добре добавил: — А впрочем, я пошутил. Чтобы тебя прощупать, каким духом живешь? Проявил бдительность. И ты не обижайся: проверка! Как полагается.

И он снова заржал, оскаливая большие передние зубы. Тимошkin внимательно и несколько удивленно посмотрел на него — действительно, как знать, где у него была правда, у этого человека. Он мог ее, эту правду, подать так, что она выглядела как ложь, и наоборот, ложь у него могла показаться правдивее всякой правды.

И вдруг писарь умолк, замедлил шаг — впереди вал обрывался и из-за него показались изгородь, какие-то строения, дома, деревья. Бойцы осторожно вышли из-за вала — перед ними была окраина какого-то городка или деревни. Все кругом покойно дремало, только где-то вдали, буксая, натужно ворчала машина.

Блищинский остановился, прислушался, — его хмельная самоуверенность сразу сменилась пугливой настороженностью.

— Пошли потихоньку, — сказал Тимошkin. — Что же стоять?

Сержант молчаливо согласился, и они, минуя занесенные снегом окраинные домики, подались в обход селения. В одном дворе вдруг всполошилась собака, царапая когтями доски, бросилась к забору, хорошо, что забор был сплошной и высокий. Блищинский попятился, вскинув автомат. Вскоре они свернули за угол, и собака утихла.

Оглядываясь, с полчаса крались вдоль стен и заборов, пока неожиданный окрик не заставил их прижаться к дощатой стене какого-то сарайчика. Впереди, за близкими деревьями, виднелась дорога, и оттуда донеслись голоса. В предрассветной темноте отчетливо вырисовывались силуэты автомобилей, длинных приземистых транспортеров, между ними ярко сверкнул длинный пучок света, что-то звякнуло, потом свет погас.

Бойцы замерли и прислушались, самый первый вопрос был — кто: свои или немцы? Разговор на дороге был очень тихим, его нельзя было разобрать, но Блищинский каким-то одному ему известным способом определил:

— Немцы.

Оба с минуту молчали, обдумывая, как избежать встречи, потом сержант прошептал:

— Надо смыться отсюда. Давай в обход!

— В какой, к черту, обход! — возразил Тимошkin.

Действительно, в обход было нельзя. Увидев их в поле, немцы сразу насторожились бы, окликнули, тут бы они и попались. Лучше было пробираться вдоль домов, держаться поближе к машинам и затем перебежать между ними дорогу.

Поняв это, Блищинский после короткого колебания ступил в снег, и они, прижимаясь к заборам и глухим стенам строений, подошли совсем близко к улице. Крайним тут был серый с верандами особняк, за сетчатой изгородью которого густо разросся кустарник. Бойцы притаились у проволочной изгороди и всмотрелись в дорогу.

Теперь уже хорошо стало видно, что на дороге вытянулась колонна крытых брезентовых машин. Людей там, однако, не слышно было, только глухо стукнула дверца кабины, и, тихо шагая по дороге, кто-то сошел на обочину. Будто всматриваясь во что-то, он постоял возле дерева, потом запахнул полы шинели и вернулся к машине.

Они долго сидели под проволокой. Блищинский, видно, струхнул, это чувствовалось по его напряженной, ссутулившейся фигуре, по злому шепоту в ответ на всякое неосторожное движение земляка. Хотя и Тимошkinу было не очень весело, но он знал, что бояться и не уметь скрыть этого — по меньшей мере наивно для фронтовика.

— Ну и западня! — озабоченно шипел Блищинский. — Что же делать?

Он напряженно искал выхода, стремясь придумать, как бы выкарабкаться из непривычно опасного положения. Тимошkin не очень-то и старался что-либо найти, он знал, что ничего, кроме как переходить дорогу, они не придумают. От того, удастся им это или нет, будет зависеть все остальное.

— Что? Надо переходить, — сказал Тимошkin, ожидая согласия товарища. Но Блищинский все еще не мог решиться на это и молчал, всматриваясь в ночь.

— Ладно. Только вот что, — не совсем уверенно начал он. — Пусть кто-нибудь сначала один — в разведку. А потом второй. Чтобы не обоим сразу. Понимаешь?

Фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
давай ты первый.

Тимошина это возмутило, однако он сдержался, стараясь подавить в себе это первое и, может быть, неверное чувство.

– А почему я?

– Ты что, испугался? – зашептал Блищинский. – Ну не ходи, коли боишься. Подумаешь, я пойду. Только... У меня сумка, документы, понимаешь? Мне нельзя.

Как всегда в подобных обстоятельствах, у него мгновенно появились причины, дающие ему право оставаться в стороне от самого трудного. Так он делал некогда еще на выgone, когда они вместе пасли гусей. Гуси то и дело забирались в посевы, а ребята играли в овражке и поочередно бегали заворачивать их. Но когда подходила очередь Блищинского, он сейчас же находил причину: то у него болела нога или живот, то не его гуси забегали в рожь первыми. Теперь было то же самое. Но тут медлить было нельзя, и Тимошин, не удержавшись, подхватил автомат.

– Если так – пусть!

Конечно, он поступил опрометчиво, – такая горячка (сам понимал) была неуместна тут, в двадцати шагах от противника. Но боец не хотел, чтобы сержант показалось, будто он трусит или старается схитрить. Тимошин рванулся к дороге, не оглядываясь и не думая, что и как будет потом. Впереди чернело тупорылое очертание «мерседеса», за ним в колонне был разрыв шагов на пятнадцать, и боец направился туда. В это время сзади послышался шепот Блищинского:

– Стой, подожди – пошли вместе.

Он нагнал земляка, и они, не останавливаясь, двинулись вдоль забора.

Очертания машины постепенно прояснились, под придорожными деревьями выше стал ее брезентовый кузов. Тимошин прыгнул через кювет, но не перепрыгнул, провалился в снег и с усилием выбрался из него. Блищинский снова где-то пропал, но боец не оглядался: писарь теперь стал ему совершенно ненужным, почти ненавистным. Стараясь ступить как можно спокойнее, он вышел на дорогу. В кабине задней машины тускло вспыхнул и погас огонек цигарки. В кузове «Мерседеса» что-то стукнуло, завозилось, и хриплый спросонок голос проворчал под брезентом:

– Руигер ду, Гейдель!

Широким шагом Тимошин пересек дорогу, снова перескочил кювет, и его сердце, замершее от напряжения, вдруг часто-часто застучало в груди. Хотелось бежать, но он с трудом сдерживал себя, чтобы не привлечь внимания немцев, шел медленно. И тогда сзади послышалось напряженное дыхание Блищинского. Вприпрыжку тот нагнал земляка и, пугливо озираясь, начал быстро опережать его.

– Тише! – зло шепнул Тимошин. – Видно же...

Блищинский, очевидно, понял, что его торопливость может выдать их, и замедлил шаг. Преодолевая в себе страх, писарь быстро входил в привычную роль начальника. Еще через минуту он закомандовал:

– За мной! Не отставай! Не отставай!

Прижимаясь к каким-то низким хозяйственным постройкам, они уже порядком отошли от дороги. Тимошин оглянулся и немного успокоился: машины едва чернели вдали. Немцы бойцов не заметили или не обратили на них внимания, возможно приняв за своих. Впереди низко осело в снегу какое-то длинное здание, они забежали за его угол и перевели дыхание. Дорога была все еще близко, но строение укрыло их от противника, и Тимошин не стал больше сдерживать свой гнев.

– Эх ты! Хвалился только: знаю, понимаю! А пришлось – так за спину прячешься. Трус!

Блищинский нервно повернулся к бойцу.

– Трус? – возбужденно зашипел он. – Это я трус? Ты что болтаешь! У меня сумка майора! Ты знаешь, какие там документы? Знаешь?

– Не знаю и знать не хочу.

– Вот так и скажи. А то – трус! Здесь – секретные документы. Понял? И заткнись! Блищинский недовольно помолчал, отряхнул снег с полы своей офицерской шинели, но все еще не мог успокоиться и ворчал:

– "Трус"! Надо же головой думать. Понимать, что к чему. Учил, учил немец – и никакого толку. Лезем, как свиньи в плетень. Это как у нас в оккупацию...

Помнишь? В сорок втором в Заболотье какой-то дурак убил паршивого немца.

Приехали каратели, сожгли деревню, расстреляли двадцать мужиков. И за что? За одного фрица. Ну, стоило убивать?

– Ага. Знаешь, как в анекдоте, – сказал Тимошин. – Как же идти на фронт: там могут глаза выбить?

– Дурак! – плюнул Блищинский. – Глуп как пробка.

– Ладно уж. Хорошо, что ты умен.

Писарь замолчал и надулся.

Злясь друг на друга, они долго еще шли молча. По всему было заметно, что близилось утро, сильно донимала усталость, и у бойцов начали слипаться глаза. Изо всех сил боролись они с одолевавшей их сонливостью, но все же дремали на

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
ходу. Однажды, споткнувшись, Тимошкин упал в снег, а когда раскрыл глаза и поднялся, неожиданно обнаружил, что тьма как-то сразу раздвинулась: в чистом поле стали видны редкие стебли бурьяна, кустарник на межах; впереди возвышалась скирда соломы.

Ветер не утихал, по полу стлалась поземка, и над заснеженной тревожной землей постепенно светало.

5

– Ну вот и вышли, чертова псина! – с досадой сказал Блищинский.

Они обессиленно прислонились к запорошенной снегом скирде и с отчаянием смотрели на восток, куда лежал их путь и куда уже невозможно было податься.

Незаметно совсем рассвело, облачное утреннее небо приподнялось над бескрайним простором. Наискось от скирды лежали ровные ряды виноградника, в полкилометре поперек поля, – наверное, на границе двух земельных владений, – протянулись молодые деревца. Дальним своим концом деревца упирались в небольшой хуторок, который сиротливо ютился среди огромного снежного поля. Несколько поодаль от него и дальше за деревьями, чуть не у самого горизонта, возвышался похожий на курган холмик, и на нем – видно было отсюда – ходили, стояли, копали траншеи немцы. Это было далеко, но бойцы не сомневались, что перед ними противник. Только что с вершины холма спустилась группа людей, наверно командиров. Один из них постоял, размахивая руками, должно быть отдавал указания, потом сел в машину и покатил по дороге в ту сторону, откуда всю ночь шли земляки.

Блищинский достал из сумки майора артиллерийскую карту и, то и дело оглядываясь, начал водить по ней прокуренным коричневым ногтем в поисках места их нахождения. Вид у него был озабоченный, несколько даже растерянный; от прежней его самоуверенности не осталось и следа.

– Давай вот так пойдем, – сказал Тимошкин, показывая рукой в сторону от холма с немцами. Блищинский оторвал от карты озабоченное лицо, сощурил близорукие щелочки-глазки и посмотрел вдаль.

– Что ты! Не пройдешь... И не высовывайся, не высовывайся так! Садись! – начальнически прикрикнул он, увидев, что боец больше, чем следовало, высунулся из-за скирды.

Тимошкин постоял немного и почувствовал, что снег, виноградники и деревья начинают сливатся в глазах. В пути все-таки легче было бороться со сном, да и не так донимала стужа, теперь же мерзли ноги и все тело наливалось неодолимой усталостью. В голове от слабости и бессонницы тягуче, однообразно гудело, и мысли никак не могли преодолеть какую-то сонливую леность. Хотелось сесть, успокоиться, забыться, и больше, казалось, ничего не надо было. Прислонившись спиной к соломе, Тимошкин сел под скирду и с тупым безразличием ко всему отдался покою.

Скирда была большая, с огромной снеговой шапкой наверху. С той ее стороны, где нашли пристанище бойцы, кто-то раньше дергал солому, и там образовался застремешек, под которым почти не было снега. Шагах в десяти от скирды валялась железная бочка с двумя обручами на ней, рядом, припорощенная снегом, лежала убитая лошадь. Плоская шея лошади прогнулась в снегу, брюхо неимоверным горбом выперло вверх, задняя нога высоко задралась, и на ней свежей ржавчиной краснела подкова.

– Ну и ну! – с тревогой в голосе сказал Блищинский. – Что же делать?

– Ждать. Может, вечером выберемся, – отозвался Тимошкин, чувствуя, что преодолеть усталость уже не в силах.

– Вот так влипли! Теперь уже конец, – упавшим голосом объявил писарь.

Тимошкин, вспомнив ночной разговор, съязвил:

– Вот тебе и тыловые части! Хоть бы к фронтовым прибиться.

– Черт знает что придумать.

– Думай. Ты же умник. Ты вел.

– Ага, я вел! – обозлился Блищинский. – Я вел не к немцам – к своим вел. Не забывай этого.

– Может, скажешь, что ты меня спасал? – уныло спросил Тимошкин, прижимаясь к скирде. Блищинский уставился на него своими маленькими и быстрыми глазками и с полминуты смотрел зло и придирчиво, будто соображая что-то.

– Поросенок! Если бы не я, ты и теперь под кустом лежал бы. Дружка дожидался.

– А ты и теперь под забором сидел бы, – недолго думая, огрызнулся Тимошкин. У парня уже накипело на сердце – и за хвастовство, и за бесстыдство и трусость Блищинского, и вообще за все прежнее, что копилось годами и разделяло этих людей.

– Ты что? В самом деле трусом меня считаешь? – запальчиво заговорил Блищинский.

– Думаешь, я за свою жизнь боюсь? Что ж, может, и так. Допустим. Но не забывай:

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
я пушки не бросил, как некоторые... Смелые. А за пушку ты смотри... Стоит узнать
начальству и... Понимаешь?

– А что пушка? – откинулся от соломы Тимошкин. – Мы что – немцам ее отдали?

Блицинский смолчал, а Тимошкин подумал, что, видно, писарь не забудет про
пушку. Может, еще, выйдя к своим, переверт все и донесет начальству – тогда
попробуй докажи, что было не так. Но боец не хотел спорить, – его занимало
другое. Он снова подался в застремек. Блицинский, не на шутку раздраженный новой
неудачей, гнусаво скулил:

– Вот вломались, так вломались! Теперь уж капут! Это как пить дать. Если даже и
выберемся, мало радости. Теперь мы – окружены. Вот чертова история! А?

Тимошкин и сам знал, что это плохо. Правда, до сих пор он об этом не думал. Все
казалось, что окружение неглубокое, до утра они выйдут из него, найдут свою
дивизию и там все объяснят. Но эта задержка, похожая на западню, встала
неодолимой преградой на пути к спасению. Было отчего тревожиться.

– Теперь окружены, понимаешь? – говорил Блицинский. – В анкете уже не
напишешь, что в плена и окружении не был. Теперь ярлык на всю жизнь. Да еще
особый отдел на цугундер возьмет. Понимаешь?

– За что брат? – возразил Тимошкин. – Что мы – преступники, что ли?

– Э-э, преступники! Чудак! – подхватил Блицинский. – Ты, наверно, мало еще
видел. А я вот знаю. Преступники или не преступники, а теперь на крючок – и
сюда, голубчик. Посадят, и попробуй докажи, что не водовоз.

Черт знает, почему он напоминал об этом, неужели им мало было других забот –
усталым, голодным, раненым? У Тимошкина его слова вызвали в душе злую обиду, но
все же какой-то трезвой частицей рассудка он не мог не согласиться с сержантом.
Боец и сам помнил несколько случаев, когда вышедших из окружения отправляли в
тыл и там начинали следствие, составляли протоколы, опрашивали свидетелей.
Правда, тогда его не очень задевало это, теперь же он сам оказался в таком вот
положении. А впрочем, пусть проверяют, пусть пишут протоколы, думал Тимошкин, мы
ничего плохого не сделали, и совесть наша чиста.

И будто в ответ на эти мысли Блицинский уныло сказал:

– Тебе-то что? С тебя немного возьмешь. А у меня вот учеба горит. Понимаешь?
Тысячу чертей на их голову! – раздраженно добавил он.

Тимошкин поднял отяжелевшую голову:

– Это какая учеба?

– Какая? На курсы должны были послать. Понимаешь? На курсы младших лейтенантов,
– уточнил Блицинский. – А теперь, видно, амба. Не пошлют же окруженца, – говорил
он, мрачно взглядываясь в даль и ковыряя в зубах соломинкой.

Тимошкин от удивления раскрыл рот: вот почему писарь так заботился о своей
репутации! Ну конечно же, прошлой ночью он говорил правду. Этот человек думал о
карьере и на фронте. Неизвестно, удастся ли им унести отсюда ноги, а он уже
расстраивается, что не придется попасть на курсы. Хотя оно и понятно: Гришка
всегда старался извлечь какую-нибудь выгоду для себя; во вчерашнем бою ему не
повезло впервые, и потому он так упрямо выкручивался.

В это утро они находились в одинаковых условиях шансы на спасение у них были
равные, и погибнуть они могли вместе. Но Тимошкин все же не мог не почувствовать
злорадного удовлетворения оттого, что наконец и Блицинского настигла беда. Хоть
раз узнает, где раки зимуют, а то просидел полгода в штабе, нацепляя медалей, да
еще намеревался стать офицером.

Боец глубже забился в застремек, прикрыл шинелью руку и, дрожа всем телом, с
отвращением глядел на Блицинского. А тот, будто и не чувствуя этого отвращения,
уныло посматривал в поле и ворчал:

– Черт его знает, как все глупо обернулось. Все шло нормально. И вот на тебе!
Хорошо еще, что в воскресенье заполучил рекомендацию у майора. Теперь уж у
покойника не возьмешь.

Тимошкин, уставясь на него, от удивления не мог вымолвить слова. Писарь
почувствовал его замешательство и, обернувшись, смерил земляка презрительным
взглядом:

– Что рот разинул?

– Куда это рекомендацию?

– Хе, куда! В партию!

– В партию? Ты?

Блицинский повернулся к спутнику:

– Ну а что ж? Чему удивляешься? Ты что, думаешь, не примут? Хе! А ты спроси в
штабе, что такое писарь артчасти Блицинский. Тебе скажут. И замполит, и
начштаба, и майор Андреев сказал бы. Понимаешь? Что я, дело свое плохо знаю? Или
малограмотный? Комсомолец, бывший партизан, активист. Учи, я один в штабе с
незаконченным высшим образованием. Понял?

Тимошкин глядел на сержанта и думал, что сегодня, наверно, уж ничем больше не

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru удивит его этот человек. Теперь он окончательно понял, каким стал земляк со временем их службы в запасном полку. Он хорошо знал, что Блищинского уже ничем не смутишь, не вызовешь у него раскаяния, он даже и на оскорбления не реагирует, хотя, кажется, и не считает себя виновным. И все же Тимошкин сказал ему:

— Шкурник ты! Жулик! С таким нутром тебя за сто километров к партии не подпустят.

Писарь выплюнул соломинку и всем телом повернулся к бойцу — в его глазах тлела ироническая улыбка.

— Ого! Как здорово! даже чересчур. Только почему я жулик? И почему не подпустят? Эх ты, младенец! — вздохнул он с тихой притворной грустью. — жизни не знаешь, молокосос.

— Если ты знаешь, то почему на собраниях говоришь не то? Тогда ты небось по газетке шпаришь. Там вон какой — гладенький, тихенький, все одобрял и поддерживал...

Тимошкин весь дрожал — и от стужи, и от ненависти к этому цинику.

— Поддерживал! — передразнил Блищинский. — Что я дурак, на рожон лезть? На собрании я говорю, что все говорят. Что замполит поручит. Я ведь солдат все-таки. Комсомолец и так далее. Да что тебе объяснять, разве ты поймешь?

— Что понимать? Все ясно!

Тимошкину казалось, что он больше, чем кто-либо, знал этого мерзавца, и в то же время понять его до конца было невозможно. Наверное, каждая его мозговая извилина имела свое отношение к миру, свое, отличное от людского, намерение, вся его натура состояла из расчета, фальши и хитрости. Тимошкин никогда не слышал, чтобы он перед кем-нибудь так выворачивал свое нутро; теперь же, неизвестно по какой причине (возможно, потому, что они попали в западню, из которой пока не было выхода), Блищинский разозлился и перестал скрывать свои взгляды на жизнь.

— Чертка лысого ты понимаешь! Ты молокосос и недоучка, — говорил сержант. — Что у тебя за плечами? девять классов. А я философию изучал, мудрость жизни. Мои родители — сам знаешь — мужики. Как жили? В темноте, в недостатке — работа до отупения, пустой суп, лапти. Но то время прошло, и я хочу жить лучше. Вырваться в люди. Пер августад ад аугуста — сквозь трудности к высотам, понимаешь? Я ведь никого не убиваю, не ворую, не граблю. Я сам по себе. Что тут удивительного? Теперь вот я говорю тебе это, потому что ты все же земляк, хоть и такой колючий. Опять-таки нас двое, свидетелей нет. А вон немцы. И я не боюсь. да и сколько таких, как я. Только они не скажут. Они в себе живут и для себя. Думают одно, а говорят другое. Приспособливаются. А ты что думал? Патриотизм? Героизм? Ха! детский лепет.

Тимошкину вдруг захотелось ударить его и уйти к другим людям, таким, какие были в их расчете, — к Щербаку, Скварышеву, Кеклидзе... Даже Здобудька теперь показался ему простым и надежным дядькой. Но уйти было некуда. Сзади, впереди и по сторонам были немцы. Щербак пропал где-то в снежной ночи. Скварышев, Кеклидзе остались навеки в том узком окопе, на огневой позиции. И только он, этот шкурник, сидел в одном шаге от него и говорил отвратительные по своему цинизму слова. А Тимошкин вынужден был их слушать.

«Эх, Ваня, Ваня! Дорогой друг, — думал он. — Как ты мне сейчас нужен. Мы с тобой похоронили столько наших товарищей, видели смерть каждого и знали, где их могилы. Но что случилось с тобой? И что я напишу твоей матери, если мне посчастливится выбраться к своим? Был бы ты здесь, не оказалось бы у меня стольких тревог, при тебе не стал бы плести невесть что этот выродок. Наверняка прикусил бы язык, потому что ты не стерпел бы такого, а у меня уже нет сил с ним спорить...»

Блищинский еще некоторое время посидел, потом встал на ноги, слегка пригнувшись, обошел скирду, оглядывая окрестности. Немцы на бугре сновали, как растревоженные муравьи, сзади по дороге неслись автомобили в сторону фронта. В снежном просторе стало еще светлее, но небо сплошь укрывали серые тучи: дул холодный, напористый ветер. Вернувшись на прежнее место, Гришка сел, уперся спиной в солому, поджав под себя ноги, и успокоился. Притерпевшись к боли в руке, Тимошкин закрыл глаза, — в голове пьяно все закружилось, поплыло и как-то сразу затихло...

Он задремал, сам того не заметив, будто провалился в небытие. Правда, спать, кажется, пришлось недолго. Постоянно жившее в нем ощущение опасности вскоре разбудило его. Тимошкин испуганно встрепенулся, озабоченный тем, как бы чего не случилось, и открыл глаза.

Возле скирды было по-прежнему тихо, только скулил да шуршал соломой ветер. Блищинский зябко корчился рядом, уткнув лицо в колени. Поле вокруг лежало пустое, по дороге ползли автомобили, а на пригорке все еще копошились немцы. Вовсю гуляла поземка, снеговые змеи расползались по ровной поверхности,

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru вылизывая, зачищая снежный покров. От оставленной бочки с выштампованной на дне надписью «Wehrmacht» вытянулся изогнутый хребет сугроба. В нем, занесенная снегом, исчезла лошадиная шея, только черные клочья гривы трепетно бились на ветру, будто сохранив еще какие-то остатки жизни.

Не то чтобы Тимошкин отдохнул, но спать больше не отважился, потому что надо было смотреть, как бы не попасть в положение еще худшее. Блищинский сдал, то и дело вздрагивая, – изнервничался и, видно, впервые по-настоящему почувствовал крушение своих далеко идущих расчетов. Все, говорил он, шло у него так, как хотелось, а тут вот сорвалось.

Надо же было дойти до такой наглости, думал Тимошкин, чтобы полезть даже в партию. Тимошкин всегда считал, что таким, как Блищинский, не место и в комсомоле, что для этого у него нечистые руки и грязная совесть, а он вот – на тебе – добыл рекомендации в партию. И первым рекомендует писаря его непосредственный командир, начальник артиллерии майор Андреев.

Тимошкин мучительно думал, стараясь понять, как все это могло случиться, и тогда в памяти всплыл один давнишний поступок Гришки, который когда-то неприятно поразил его. Это случилось еще в обороне, в Молдавии. Как-то попав в штаб, Тимошкин решил навестить своего земляка-писаря. С пилоткой, полной абрикосов, Блищинский, должно быть, возвращался с хутора, и Тимошкин встретил его между штабных землянок. На Гришку, конечно, набросились штабные ребята – коноводы, шоферы, писари, но он, громко хохоча, отбился от всех их, пробежав мимо земляка, ловко нырнул со своей пилоткой в блиндаж майора Андреева. Сквозь завешенную палаткой дверь Тимошкин услыхал, как майор сначала неловко отказывался, а потом так же неловко благодарил писаря за угожение. Вскоре Блищинский вышел оттуда, довольно улыбаясь, вытряхнул опустевшую пилотку и хитро подмигнул земляку. На передовой кормили скучновато, все больше кукурузой, Гришка знал это, но, как и всех, обошел Тимошина, неся свой подарок майору. Видно, это было не в первый раз, и, конечно, человеческое сердце – не камень. Блищинский умел лисой подползти к человеку и показать себя совсем не таким, каким был на самом деле. Доказательство тому – вот эта рекомендация.

Тимошкин прикрыл шинелью колени, глубже спрятал в воротник подбородок и сказал себе: ладно, черт с ним. Поживем, что будет дальше – увидим. Хотелось не думать об этом, забыться, выбросить земляка из головы, но мысли о нем настойчиво будоражили сознание.

И гляди-ка ты, собрался на офицерские курсы! Конечно, расчет тонкий: через несколько месяцев, наверно, война окончится, он это время потолкается где-нибудь в тылу, будет учиться. Он уже теперь обдумывал, как устроится после войны (в том, что выживет, он был уверен), у него все рассчитано на много лет вперед, спланировано, обдумано. А Тимошкину с Щербаком хотелось только одного – дожить до конца войны. Только бы одолеть фашизм, дождаться победы, увидеть хотя бы один мирный день без огня и крови, и больше, кажется, ничего бы не нужно было. Они согласны были бы на любую работу, на самое скромное место в жизни, им всюду был бы желанный рай после того ада, который они пережили на фронте.

Болела и ныла от холода раненая рука, коченели ноги в закаменевших на морозе сапогах; ветер насквозь пронизывал запорошенную снегом шинель. Кругом по-прежнему стлалась поземка, в скирде от холода попискивали мыши. Но парень уже привык к стуже, голоду и боли, поднял воротник, сидел и думал. Тишина и этот вот Блищинский разворошил в нем думы-мечты о такой далекой, казалось недосягаемой, послевоенной жизни.

Странно все-таки устроен человек. Их жизнь почти висела на волоске, кругом рыскал враг, нелегко было дожить до вечера, они не знали, как пробиться к своим, а мысли забегали далеко вперед – в то заветное время, когда уже не будет войны. И знал ведь он, что сегодня каждую минуту их могла настигнуть смерть, но все равно думал: будет же когда-нибудь – и, видно, уже скоро – конец войны, придет победа и настанет иная, непохожая на эту, обычная человеческая жизнь. Хотелось уже теперь осмыслить ее, понять, что нужно ему от той жизни и какой он представляет ее для людей и для себя.

Чудесные это, наверное, будут времена, думал Тимошкин. Люди станут между собой, как братья, исчезнет себялюбие, заносчивость, жадность. За годы неимоверных лишений они научились ценить простое человеческое счастье, подчинять свои устремления единой цели, в личном довольствоваться малым. Все же таких, как Блищинский, немного, а миллионы фронтовиков познали на войне священные узы братства – то чудесное и светлое, что приобретали они, не растративая, в это лихолетье. Все это светлое, чистое надо сохранить, сберечь на долгие годы, не дать людям забыть о нем, не позволить его опоганить таким вот трутням войны, как Блищинский.

Будущее представлялось Тимошику смутно. Если удастся выжить, то, возможно, он будет учиться. Конечно, придется работать, но где и кем – он не знал еще и

Фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
думал, что, в конце концов, это не так уж и важно. Найдется где-нибудь кусок хлеба, будет рядом товарищ, спокойствие мирного дня – разве этого мало для счастья?

Правда, может случиться – и это очень возможно, – что рядом окажется Блищинский. Но это не страшно. Рано или поздно люди увидят, каков он, поймут и разоблачат его; сейчас же ругаться с ним у Тимошкина не было никакого желания. Противное это дело – ругаться с человеком, да еще с земляком, доносить на него или даже выступать против него на собраниях, тем более что многие могут и не поверить сказанному. Стоит ли так беспокоиться из-за одного выродка, если вокруг столько хороших ребят? Так думал Тимошкин, немного отдохнув и успокоившись.

Еще он думал, что после такой суровой борьбы за жизнь на земле все, и плохое и хорошее в людях, определится и встанет на свое место; раскусят люди и Блищинского. И это уже не зависит ни от его, ни от чьих-либо еще усилий – время и правда возьмут свое, и каждый предстанет перед другими во всей своей истинной сущности.

6

Усталый, он совсем замерз и, кажется, опять уснул.

Неизвестно, сколько продолжался этот сон, но боец вдруг почувствовал, словно кто-то трясет его за плечо, – он вздрогнул и увидел над собой Блищинского. Писарь что-то кричал, но Тимошкин, не понимая, видел только, как беззвучно шевелятся его тонкие губы, тревожно раздуваются ноздри и в округлившихся, покалеченных глазах леденеет страх.

– Тимошкин, идут!.. Слыши, идут!.. Сюда...

Боец рванулся с соломы, но все еще не мог сообразить, что произошло и что ему надо делать. Потом поднялся на онемевшие, застывшие ноги, схватил автомат и всмотрелся в снежное поле, куда указывал рукой сержант.

По их утреннему следу шел человек.

Он был еще далеко, и Тимошкин не мог узнать, кто это: свой, немец или, может, мадьяр, ясно только, что направляется он именно к этой скирде. Хорошо, что Блищинский вовремя проснулся и заметил его. Видно было по всему: писарь испугался и лихорадочно шарит глазами по полю. Но податься некуда. Впереди и по сторонам носились по дороге автомобили, на пригорке уже окопались и ждали чего-то немцы. Правда, они находились сравнительно далеко и, наверно, не очень-то оглядывались на свой тыл. Очевидно, все их внимание сейчас направлено в сторону фронта.

Человек подходил все ближе. Блищинский прижался к скирде; дрожа от холода, Тимошкин присел рядом, и они всматривались, стараясь узнать, кто это. И тогда стало видно, что человек идет тяжело, как пьяный, шатаясь из стороны в сторону, по временам останавливается. Потом им показалось, что он несет на себе что-то большое и тяжелое – и это заставляет его так неровно ступать и сгибаться.

Они долго и пристально вглядывались в пешехода. Было очень холодно. Вокруг мела поземка, ветер трепал солому в скирде, свистел, трубно гудел в бочку, то и дело бешено врываясь под их застрипки. Офицерская шинель Блищинского искрилась, осыпанная блестящей серебристой пылью. Внутри у Тимошкина, кажется, насквозь все промерзло и болезненно, томительно ныло. Спросонок он плохо соображал, но вдруг какое-то непонятное, подспудное чувство охватило его, – он рванулся от скирды, встал. Почудилось – четко, обнадеживающе, радостно, – что это Иван Щербак. Еще не многое можно было рассмотреть в человеке – ничего характерного в осанке, в одежде, а уже хлынула в душу радость: конец одиночеству, теперь они будут вместе. С трудом превозмогая усталость, Тимошкин вскочил и, стоя у скирды, настойчиво твердил себе: это он, Иван, и с ним, наверное, раненый Здобудька.

– Блищинский! – крикнул он земляку. – Это Щербак!

Писарь вздрогнул, притих, нахмурился, подумал и осторожно заметил, всматриваясь в даль:

– Откуда он возьмется?! Это кто-то другой.

– Чудак, посмотри: в ватнике и высокий! И идет гляди как вразвалку. Здобудьку, нашего ездового, несет. Разве нет?

Блищинский еще с минуту всматривался в далекую, грузно ступавшую фигуру, а затем выругался:

– Вот дурак! Какого черта прется сюда! Не было другой дороги, что ли?

– А куда же ему идти! – удивился Тимошкин. – Видит скирду, вот и идет.

– Видит! А того не понимает, что нас выдаст. Еще немцев за собой приведет.

Иван подошел ближе, и Тимошкин уже отчетливо видел и узнавал его короткий с оттопыренными карманами ватник, сильные широкие плечи, на которых лежала какая-то ноша; на груди болтался автомат.

Блищинский тревожным взглядом снова окинул горизонт, но, кажется, никто не

Фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
следил за ними. Тогда он поставил на предохранитель ППШ и сказал:

– Не мог где-нибудь подождать до ночи. Надо было переться на виду у немцев... И ты это вот что, Тимошкин... Хочешь спастись – держись меня. Понимаешь? Не слушай его. В конце концов, я командир, а не он. Я сержант, понимаешь? А он рядовой.

– Ну, это уж дудки, – сказал воспрянувший духом Тимошкин.

– Как это дудки?

– А так.

Блищинский бросил на него быстрый оценивающий взгляд и умолк; что-то скрытное и злое мелькнуло на его почерневшем от холода, заросшем щетиной лице. Потом он сунул руку за пазуху, достал фляжку, поболтал, но там, кажется, было пусто, и он швырнул ее в бочку. Со звоном ударившись о железо, фляжка отскочила на снег.

– Ну что ж! – сказал Гришка. – Пропадешь – пеняй на себя.

Он явно злился, но Тимошкину было наплевать на его злость. Иван подошел уже совсем близко, он грузно ступал под тяжестью своей ноши, сильно согнувшись под ней. Потом взглянул вперед, заметил стоящих под скирдой людей, остановился и, видимо узнав, зашагал быстрее.

Тимошкин был вне себя от радости, что жив его лучший друг и что они теперь будут вместе, только...

Только кого это он тащит на себе в сизой офицерской шинели? Нет, это не Здобудька! У Здобудьки обычная солдатская шинель, а у этого нестриженая голова, ветер треплет его светлые волосы, и длинные ноги в сапогах свисают почти до снега.

И тут Тимошкин взглянул на своего земляка. Тот, очевидно, тоже рассмотрел эту необычную ношу и насторожился, тревожно прищурив близорукие глазки. Пальцы его рук нервно забегали по груди, будто отыскивая что-то, нащупали ремень сумки и вцепились в него.

Гонимый предчувствием чего-то скверного, Тимошкин не устоял на месте и бросился через сугроб к Ивану. Разбрасывая сапогами снег, он бежал к нему, все время всматриваясь в лицо друга, наконец, встретился с ним глазами и ужаснулся. Страшно было видеть, каким стал Иван! Наверное, от усталости, грязи и пота, который заливал его щеки, лицо, оно казалось диким, а глаза светились каким-то безумным, злым блеском. Радость встречи от этого взгляда сразу омрачилась. Тимошкин понял, что друга настигла беда.

Не промолвив ни слова, боец подхватил за ноги человека и, так помогая Ивану, побрел по снегу к скирде. Добравшись до застремка, Щербак вместе с ношей боком свалился на солому, а Тимошкин присел рядом и впервые взглянул на неподвижное лицо того, кого он помогал нести.

В окровавленной сизой шинели тихо стонал на соломе бледный, непохожий на себя майор Андреев.

На несколько секунд Тимошкин, кажется, онемел, пораженный тем, что увидел, потом поднял взгляд на Блищинского. Его земляк, прислонясь к скирде, испуганно глядел на майора и кусал губы. Но вскоре, видимо совладев с собой, он с деланной радостью оживился, опустился на колени перед раненым и залепетал по-бабьи быстро и неискренне:

– Товарищ майор! Товарищ майор! Вы живы?

Тогда рядом тяжело задвигался Щербак. Медленно, с трудом преодолевая усталость, он приподнялся на руках, потом на коленях, привстал на одну ногу, на вторую... Его гневное, почерневшее лицо стало еще более страшным – он не спеша поднимался, не сводя с Блищинского взгляда, полного угрозы и ненависти. Тимошкина же он не замечал вовсе, будто его и не было здесь. Чувствуя, что произошло непоправимое, и не понимая, в чем дело, боец виновато стоял рядом.

А Щербак встал на ноги и, сверля взглядом Блищинского, покрасневшей рукой нащупал рукоятку автомата.

– Скидай шинель, волчья душа! – простуженно закричал он на Блищинского. Тот, пошатнувшись, отскочил от майора, потом, поняв, вскинул перед лицом руки с тонкими дрожащими пальцами и заговорил, противно и жалобно:

– Что ты! Что ты!.. Клянусь!..

– Клянешься? Ах ты подлюга, предательская морда!!! Клянешься!.. А майора кто бросил? Кто свою шкуру спасал? Нет, не выйдет, сволочь! Раздевайся!

Он вскинул автомат на Блищинского, но писарь обеими руками тотчас схватился за ствол и, изо всех сил отводя его в сторону, залепетал:

– Стой! Опомнись! За что? За что? Разберись! Что ты!

Несколько долгих секунд они неуклюже боролись. Тимошкин сжался, съежился рядом в ожидании страшной развязки и внутренне желая, чтобы она свершилась скорей. Но Щербак, видимо, ослабел, а писарь слишком хорошо знал, что ему грозит, и боролся со всем упорством. Тяжело дыша, он взглянул на Тимошкина и вскрикнул:

– Володя! Браток! За что?

В этом «за что?» прозвучало такое отчаяние, что прежняя решимость в Тимошкине

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
дрогнула и он шагнул к Щербаку:

– Ладно! Брось его! Вон немцы.

Щербак на мгновение оглянулся и, сильно толкнув Блищинского, выдернул из его рук ствол автомата. Писарь пошатнулся, но не упал и, очевидно, уловив короткое замешательство наводчика, подавив испуг, закричал другим, полным возмущения голосом:

– За что стрелять? в кого стрелять? Разберись, пойми! За что губишь?! Своего человека губишь!!

То ли этот возмущенный крик, то ли слова Тимошкина удержали Щербака от расправы, только он, тяжело дыша, опустил автомат.

– Ах ты собака! – дрожа от гнева, хрюпел Иван. – Еще возмущается. Посмотри вон!

– показал он на неподвижно лежащего на соломе майора. – Вот что ты наделал, гад! Ну погоди! От меня не уйдешь. Я тебя из-под земли достану! Заруби себе на носу!

– Выходи – пойдешь в трибунал, – сказал Тимошкин. – Я тебе не защитник, не думай.

– Да что вы? Что вы на меня напали? Я его целый километр тащил. Но ведь он умер! Понял?.. Умер... Я думал. Потому и оставил. Как же нести? Немцы крутом.

Сами же знаете, люди вы или нет?

– Мы вот тебе покажем – «люди»! Дай только выбраться отсюда! – грозил Щербак.

Блищинский, однако, понял, что самая большая опасность уже миновала, и даже попытался усмехнуться, наверно, чтобы уверить Щербака в своей невиновности.

Иван, помедлив, поставил на предохранитель автомат и, повернувшись к писарю, захрипел:

– Своего командира, своего начальника раненого бросить! Вот же сволочь, вот негодяй! А что теперь? – Он опустил глаза на майора. – Руки поморожены, ноги, наверно, тоже. Ну что теперь сделаешь?

Тимошкин, присев на колени, склонился к майору – сизая шинель раненого на плечах и груди была в бурых смерзшихся пятнах, побелевшее лицо казалось совсем неподвижным, только под глазом нервно дергалась едва заметная жилка. Майор давно, видно, потерял сознание и тихо стонал во время коротких и частых вздохов.

– Теперь ты его понесешь, волчья душа, – сурово сказал Щербак. – Отсюда и до конца.

Потом вдвоем с Тимошкиным они подтащили Андреева глубже в застрешек, Блищинский услужливо расправил солому, помог укрыть ю ноги майора. Лицо у писаря все еще было настороженным, но во взгляде постепенно появлялась хитроватая уверенность. Щербак гневно и озабоченно хмурился.

– У него вдобавок еще и рука прострелена, крови много вытекло. Смотри, что делается! Как бы что плохое не приключилось. Совсем отморожена.

Рука действительно была неестественно белая и распухшая, таким же безжизненно бледным выглядело и лицо. Страшно было Тимошкину видеть в таком состоянии недавнего своего командира и горько сознавать, что теперь он уже не тот, одно присутствие которого придавало артиллеристам уверенность в бою. Теперь он был слабее ребенка. Но им не нужна была его сила – они хотели только, чтобы он очнулся, заговорил, увидел, в какую беду попали они, и что-нибудь посоветовал.

Щербак какое-то время устало сидел, сдвинув брови, и о чем-то напряженно думал. Почувствовав, что он несколько отошел в своем гневе и немного передохнул, Тимошкин спросил:

– Здобыдьку не нашел?

– Нашел. Убит, прямо в затылок, – сказал Щербак. – Потом я забрел на кукурузное поле. И вот майора подобрал. Этот гад его бросил. Майор сам сказал. Когда еще в сознании был.

– Кабы я знал, а то смотрю – умолк, ну, думаю, умер, – с фальшивой горечью отозвался Блищинский. Он стоял, прислонившись плечом к скирде и, казалось, с неподдельным сожалением глядел на майора. Странно, как быстро исчез у него страх перед бешеною яростью Щербака, теперь он делал вид, будто все произошло по недоразумению. Щербак смерил его угрожающим взглядом:

– Ты молчи... Вот выйдем – я с тобой посчитаюсь. Без пощады! Не думай, что отбоярился.

Они помолчали. Щербак впервые оглядел все вокруг – снежное поле, виноградники, деревья, хутор, разрытый немцами пригород вдали.

– Пройти не пробовали?

– Как пройдешь: немцы кругом.

– А я еле дорогу перешел. С утра сидел. Хорошо, что на лесок напал... – говорил он, несколько успокоившись. И вдруг спохватился: – Надо майора спасти. Тепло ему нужно. Может, операцию какую. Иначе погибнет.

– Конечно. Не очень-то в соломе согреешься, – вставил Блищинский. Он уже держался независимо, только где-то в глубине глаз еще таился пережитый испуг. Щербак ничего не ответил ему.

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

- Как же это ты нес его такую даль? – спросил Тимошкин.
- Знаешь, не раз уже думал: упаду, издохну. Но тащил. Как же бросать? Свой человек.

Он опять помолчал и уже спокойнее спросил Тимошкина:

- Курить, конечно, нечего?
- Нету, братка.
- Плохо... А я вот у Здобудьки бумаги взял. – Щербак вытянул ногу, вынул из кармана потертую пачку документов. – На, ты же грамотей – отпишешь. Как выйдем. Тимошкин взял из его рук завернутую в бумажку красноармейскую книжку, какие-то справки, потертые, помятые листки. Один листок развернул: это было письмо – неровно написанные карандашом строки родным, куда-нибудь за Волынь или Буковину. «Отсыпать или уже не надо?» – подумал боец и пробежал глазами первые слова на украинском языке: «Пишу вам усим – жинци та братовий Олени, брату Опанасу и усим родичам, що я попав до артилерии, воюемо Гитлера из пушки. Мэнэ хотили назначить до коней, та я витказався – як цэ я буду в обози, коли у мэнэ свий рохунок с Гитлером за Миколу. Воюемо ми хорошо, хлопци в нашему расчете смили, командир Скваршев тэж справедливий и видважний, а ще и хороший. По мэнэ не горюйте, а що трапится, то дарма не загину, а покажу цим фрициюкам. Чоботи мои Петро нехай виддасть куму, щоб подбив подошви, вони ще мицни, немецького виробу. А за работу, коли приеду писля вийни, в долгу не останусь. А ще сходи к голови сильради, нехай по оций справци зменьшишь тоби плату, як красноармейской родини...»

Тимошкин прочитал письмо, и ему показалось, словно он заглянул в душу этого медлительного, нерасторопного солдата. Должно быть, ездовой был способен на большее, чем то, что успел сделать за короткий свой срок на войне. Боец пожалел даже, что до сих пор как-то мало замечал его, всегда молчаливого и невзрачного с виду.

Щербак, привстав на коленях, осматривал местность. Немцы на пригорке не спеша возились в развороченной земле, мимо них по дороге пробегали в сторону фронта автомобили. Небо медленно прояснялось, хотя большая часть его еще была затянута тучами. Дул студеный, пронизывающий ветер.

В это время застонал в соломе майор. По всему видно было, что в нем догонали последние остатки жизни, и Тимошкин подумал: как нелепо после того, что случилось, дать ему погибнуть тут, за несколько, может, часов до спасения. Видно, то же самое встревожило и Щербака. Наводчик устало поднялся, всмотрелся в снежную даль, и взгляд его упал на хуторок из трех домиков, одиноко ютившийся в дальнем конце посадки.

- В хуторе не видели, немцев нет? – спросил Иван.
- Кто их знает, может, и есть.
- Да нет там никого, – отозвался Блищинский.

Непрекаемая уверенность писаря разозлила Тимошкина.

- А ты ходил туда, что-ли? – неприязненно спросил он.

- Не ходил, зато наблюдал весь день. Понимаешь?

Щербак недоверчиво посмотрел на Блищинского, потом на Тимошкина и взял с соломы автомат.

- Я схожу. Может, перенесем майора туда.
 - Ваня, постой! – вскочил Тимошкин. – А если там немцы?
 - Пусть сходит, – тихо, но твердо сказал Блищинский. – Чего бояться?
 - Ваня, не ходи! – запротестовал Тимошкин.
- Но разве можно было разубедить Щербака? Таков уж был этот человек, что если загорался чем-либо, то непременно добивался своего.
- Я быстро. Ты погляди тут, – сказал он, поправил шапку и пошел. У Тимошкина что-то сильно перевернулось в груди.
 - На других выезжаешь? – закричал он на писаря. – Почему сам не сходишь? Опять за чужую спину прячешься!

Они опять остались вдвоем, и опять Блищинский становился прежним – злобно-нагловатым по отношению к Тимошкину. Ничего не отвечая, он по-волчьи, исподлобья поглядел на земляка и начал удобнее устраиваться в соломе. Только окончательно усевшись, многозначительно заметил:

- А клина от пушки у него все же нет...

Тимошкин сначала не понял, а потом, догадавшись, о чем он, удивленно взглянул на сержанта. Тот спокойно, с открытой неприязнью выдержал его взгляд.

- Ну и что? – с ненавистью спросил Тимошкин.

- А ничего. Так. Для памяти.

Что-то он затаил в себе против Щербака, но Тимошкина это уже не интересовало. Его охватила тревога. Он сам не знал почему, но все в нем протестовало против этой вылазки на хутор. Вообще-то опасность там была невелика, немцы находились

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru довольно далеко и в одиноком человеке в поле могли не узнать противника. Но инстинктивно Тимошкин чувствовал, что это шаг к их новой беде. И он притих, подавленный этим предчувствием, умолк и, привстав на коленях, долго смотрел вслед другу.

А Щербак обошел бочку, заснеженный труп лошади и уверенно, споро зашагал в сторону хутора.

7

Вверху немного прояснилось. Тучи сползли с небосклона, оставив за собой редкую белесую дымку, которая словно туманной вуалью затянула низкое холодное солнце. Побежденное зимней стихией, оно маленьким желтым пятном беспомощно повисело над горизонтом и медленно пошло на закат.

На всем необъятном просторе, от края до края равнины, мела, гуляла поземка. Неутомимый труженик ветер гнал и гнал куда-то растрепанные космы снега, ровнял, выдувал, по-своему обряжал землю. В немом отчаянии трепетали редкие стебли бурьяна на межах, ветер рвал солому из скирды, подхватив вороха снежной пыли, сердито бросал ее под застрешек. Майор лежал в забытьи. Блищинский прижался к соломе, зарыл в нее ноги, спрятал в рукавах руки и так сидел – молчаливый и унылый. Тимошкин же, забыв о своей неутихающей боли, не чувствуя одуванчиков ног, стоял на коленях и неотрывно следил за Иваном.

Щербак, чуть опустив правое, с автоматом, плечо, все дальше и дальше уходил от скирды. Ветер вырывал из-под его сапог снежные пряди и расстипал их в поле; сзади тянулась кривая цепочка еле заметных ямок-следов. Тимошкин жадно всматривался в каждый шаг Щербака, в каждое его движение – тяжелое предчувствие камнем давило на сердце. Казалось, вот-вот загремят выстрелы, разорвется мина, и он навсегда потеряет своего последнего и самого верного друга.

Но пока было тихо – ни выстрела, ни звука, только скрипел и гудел вокруг ветер. Одно ухо Ивановой шапки прикрывало щеку, а второе оттопырилось в сторону, и тесемка от ветра тревожно металась по плечу. Постепенно, однако, его фигура уменьшилась, и вскоре очертания ее совсем сгладились.

Щербак дошел до молодого лесочка и вдоль него повернул в сторону хутора. Идти там, видимо, было легче, наводчик ускорил шаг и, все отдаляясь, приближался к цели. Тимошкин внимательно всматривался в даль, глаза от напряжения и ветра заплывали слезами. «Хоть бы как-нибудь, хоть бы как-нибудь!..» – билось в его сознании, и всей силой своей измученной души он жаждал, чтобы ничего не случилось.

Невдалеке от хутора, наверно, попался овражек, Иван вошел в него, на минуту скрылся, затем снова появился уже на той стороне.

И вот он у самого хутора. От болезненного напряжения Тимошкина охватила дрожь, однако он, как и прежде, смотрел, слушал, стыл на ветру, желая одного – удачи товарищу. Но, казалось, беда миновала. Иван быстро приближался к крайнему дому: ни возле него, ни под соседним строением ничего живого или подозрительного, кажется, не было. Вскоре он прошел вдоль длинной кирпичной стены, обошел какой-то чернеющий в снегу выступ и исчез во дворе.

Было по-прежнему тихо. Озябший Тимошкин немного ослабил свое напряжение и вздохнул. «Может, как-нибудь?..» – появилась в нем робкая надежда. Он прислонился спиной к соломе, прикрыл шинелью колени и, посматривая на хутор, ждал.

На какой-то миг боязнь за жизнь друга, страстное желание помочь в беде невольно ослабли, и за это он потом готов был проклинать себя. Может, тем самым он лишил Ивана какой-то поддержки, и тот раньше, чем следовало, утратил осторожность. Боец не знал, как это случилось, – может, даже моргнул в то время, – только увидел вдруг, что прямо по снежному полю с хутора, спасаясь, бежит человек.

Сначала Тимошкину показалось, что это кто-то другой, не Щербак, на секунду он растерялся, не поняв, что произошло, но тотчас на хуторе часто и глухо затрещал автомат.

Немцы выпустили по бегущему длинную очередь. Иван оглянулся и бросился в сторону, потом в другую, – хитрил, чтобы не попасть под пули. У Тимошкина похолодело все внутри, потом горячей волной плеснул в душу испуг. Рядом встревоженно вскочил Блищинский, но боец даже не взглянул на него – его пронизала мысль, что Иван погибнет.

Дальнейшее произошло невероятно быстро и страшно. Два или три автомата с хутора били прерывистыми короткими очередями. Иван упал, перевернулся, выстрелил в ответ, вскочил, побежал и упал снова.

Неудержимое желание помочь другу, спасти его от гибели охватило Тимошкина. Он бросился в поле, – ноги пробили тугой снежный сугроб, ветер из-за скирды резко рванул полы шинели. И тогда сзади испуганно закричал писарь:

– Стой! Куда? Сдурел? Куда тебя несет? Опомнись!

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Тимошкин торопливо и зло оглянулся на Блищинского, который горбился под застремком, и когда снова на бегу нашел взглядом Ивана, тот лежал на снегу в нескольких шагах от овражка и, кажется, больше не двигался.

У Тимошкина подкосились ноги. Споткнувшись, он глотнул что-то нестерпимо горькое, что подкатило к горлу, и с дикой яростью бросился под застремок.

– А ты что!!! – закричал он на писаря. – Опять ловчишь? Вперед, сволочь! Слышишь? Вперед! – Боец кричал и еще что-то, но побелевший Блищинский, сгорбившись, будто окаменев в выемке, бессмысленно глядел на него. Тимошкин спешил и весь дрожал, потрясенный новой бедой, а писарь жался и жался к скирде, боясь выйти на снег. Тогда Тимошкин рванул рукоятку автомата.

– Гад! Застреляю!!!

Он терял над собой власть, мог бы и убить земляка, и тот, должно быть, понял это. В коричневых глазах писаря шевельнулся испуг, тонкие губы дрогнули, и он, опасливо поглядывая на бойца, несмело ступил от скирды.

– Ну чего ты? Ошалел, что ли? – недоуменно ворчал писарь, но все же зарысил в поле.

– Бегом!!! – кричал Тимошкин и, подхватив под руку автомат, побежал за ним, полный твердой решимости убить Блищинского, если тот не подчинится. В нем будто прорвалась накопленная за годы ненависть к подлой натуре этого человека, к тому же он понимал, что один, с большой рукой не сможет, если понадобится, вынести Ивана. И Блищинский бежал, разинув от усталости рот и с опаской поглядывая то в сторону хутора, то исcosa на земляка. Тимошкин же не смотрел вперед: он знал, что их там ожидает, и под дулом автомата гнал туда писаря. Он боялся, как бы немцы раньше их не подбежали к Ивану. Но выстрелы утихли; кажется, никто с хутора так и не показался в поле. Иван с трудом ворочался вдали и, уже не вставая больше, медленно полз к овражку.

Скоро они добрались до молодых посадок.

Тут была межа – узкая, с сухим бурьяном, колюче торчащим из снега между тонкими деревцами акаций. Блищинский, устав, побежал медленнее и наконец перешел на шаг. Тимошкин строго прикрикнул на него – Гришка послушался и снова неохотно зарысил вперед. Он тяжело дышал, сумка болтала у него на боку, и писарь то и дело отбрасывал ее назад. Кажется, он превозмог страх и молчал, обретая свой прежний хмурый, сердитый вид.

Иван полз. Уже стало видно, как тяжело волочил он по снегу свое тело, оставляя позади широкую борозду – след. Тимошкин изредка прикрикивал на Блищинского, чтобы тот не отставал, и сам бежал, выбиваясь из последних сил.

Они приближались к Ивану. Неглубокий заснеженный овражек был совсем близко, на другой его стороне лежал щербак. И вдруг с хутора снова простучала длинная очередь. Тоненькая, как птичья лапка, веточка, сбитая пулей, упала с дерева, ветер подхватил ее и быстро погнал по полю. Гришка, проворно перескочив межу, распластался на другой ее стороне, Тимошкин пригнулся и, не желая оставлять писаря, лег у самой межи. В воздухе коротко и злобно посистывали пули, кусочек мерзлой коры с ближнего деревца отскочил в снег, и ствол его заблестел белым пятном.

– Ползком! – крикнул Тимошкин Блищинскому, шапка которого торчала из-за межи. – Ползком, слышишь?

Очередь снова стеганула по голым ветвям деревьев, опять несколько веток подхватил на лету ветер. Неуклюже орудуя одной рукой, Тимошкин пополз боком, волоча за собой автомат. Блищинский пошевелился и тут же притих. У Тимошкина уже несколько остыла ярость, с которой он поначалу набросился на писаря, и теперь, опасаясь за Ивана, он начал тревожиться, как бы не случилось чего и с Блищинским.

– Ну что? давай быстрей!

Гришка высунул из-за межи голову и сквозь ветер с отчаянием заговорил:

– Слушай, Володя! Что ты делаешь? Они же сейчас перебьют нас. Куда ты суешься? Может, он убит уже, зачем мы ползем? Кто он тебе, брат или начальство, что ты на рожон лезешь? давай назад! Мы же свои люди. А он... давай вернемся.

Тимошкин не ожидал этого. Он думал, что там, у скирды, сержант осознал подлость своего поведения и, если побежал, значит, понял, что иначе поступить нельзя. Но, видимо, ничего он не понял. Уговаривая вернуться, писарь уже поворачивал назад, медленно отползал, укрываясь от пуль за межой. Снова у Тимошкина закипела злость к этому человеку – было ясно, что погнать его вперед можно, только угрожая оружием.

Подхватив автомат, он перескочил межу и растянулся на снегу рядом с Блищинским. Тот настороженным, полным испуга глазами взглянул на бойца, но не увидел того, что хотел увидеть.

– Вперед! – скрипнув зубами, приказал Тимошкин и одной рукой, как пистолет,

Фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
наставил на него автомат. – Вперед! – От злости его голос сорвался на крик.
Блищинский медленно отвел от бойца унылый взгляд, что-то проворчал и, неуклюже
вихляя задом, пополз вдоль межи. Тимошкин, задыхаясь от снежного вихря,
поднято го телом писаря, полз следом. Ползти было тяжело и неловко, хотелось
вскочить и бежать, но он не хотел рисковать, тем более что под пулями гнать
вперед Блищинского, видно, не удалось бы. И боец изо всех сил старался не
отставать от сержанта и, если тот останавливался, автоматом толкал в подошвы его
валенок. Писарь, не оглядываясь, понимал, что от него требуется, и неохотно
двигался дальше.

Наконец они добрались до овражка. Пока они ползли вдоль межи, Тимошкин не мог
видеть Ивана. Теперь он взглянул на друга – тот тоже добрался до оврага и
обессиленно шевелился на противоположном его склоне. Рядом с бойцом, вдавленный
в снег, лежал автомат.

Блищинский еще полз, весь вывалянный в снегу, а Тимошкин уже не мог удержаться
– вскочил и сбежал в овражек. Немцы, кажется, тут не видели их и перестали
стрелять. Снег в овражке был глубокий, ноги проваливались в снег до самых колен.
Опираясь на автомат, Тимошкин вскарабкался по отлогому склону и, тяжело дыша,
подбежал к Ивану.

– Зачем же ты шел, Ваня? – еле переводя дыхание, просипел он.

Щербак хотел приподняться, но только стиснул зубы и, превозмогая боль, тихо
сказал:

– Ладно, ничего. Перевяжи как-нибудь...

Одной рукой он прикоснулся к бедру – на ватных штанах возле кармана темнело
мокре пятно, и из рваной дыры торчал окровавленный клок ваты.

Хлопота возле друга, Тимошкин неосторожно высунулся из овражка, и с хутора
снова затрещала очередь. Несколько пуль, ударившись в голый, вылизанный ветром
бугор, землей и снегом брызнули в лица бойцов, Тимошкин сплюнул и, пригибаясь,
непослушной окоченевшей рукой расстегивал одежду Ивана. Он очень спешил,
стараясь сладить с тугими петлями, и его сердце бешено колотилось в груди.

– Блищинский, быстрей! – крикнул Тимошкин писарю, который неуклюже и явно не
торопясь выбирался из сугроба в овражке. Наконец он опасливо взобрался на склон.

– Рви рубашку! – крикнул Тимошкин.

Блищинский недоуменно замигал острыми глазками, не понимая, что от него
требуется, и тогда Тимошкин, выругавшись, со злостью объяснил ему. Сержант
положил автомат, дрожащими руками вытянул из-под шинели край своей нижней
рубашки, с треском отодрал от нее полосу снизу. Склонившись над Щербаком, они
начали перевязывать его окровавленное бедро. Крови было много, она сочилась и
сочилась из раны, заливая одежду, и Тимошкин подумал тогда, что все это добром
для них не кончится.

Они перевязали наводчика, хоть и не совсем удачно, так как спешили и очень
мерзли руки. Иван, видимо, сильно страдал, но терпел, скав зубы и затаив в
глубине своих всегда серьезных глаз боль и тревогу. Почерневшее, заросшее рыжей
щетиной лицо Блищинского было искажено страхом, уголки его губ при виде крови
брезгливо морщились.

Надо было спасаться, и теперь спасение Тимошкин видел там, у скирды. Они
подхватили Щербака – под мышки и за ноги – и осторожно спустились в овражек.
Иван застонал, лицо его вдруг побледнело, но он все же умолк, видимо
приготовившись терпеливо выдержать все испытания.

Ступая в глубокие, еще свежие свои следы, они перетащили его на противоположную
сторону, – дальше надо ползти.

8

Это был нескончаемо долгий путь, он отнял у них последние силы.

Неизвестно, сколько времени они ползли, но, когда добрались до скирды, зимнее
солнце уже сошло с небосвода. Сквозь разорванные тучи, как подтаявшая льдинка,
блестел краешек месяца, а они, мокрые от холодного пота, лежали возле скирды и
хрипло, обессиленно дышали. Щербак, видимо, очень страдал. Лицо его сильно
осунулось, стало серым, глаза запали, он прикрыл их посиневшими веками и тихо
стонал. Тимошкин вытянулся рядом, не в силах уже ползти под застремешек и не в
состоянии сладить с бешено бьющимся сердцем. В раненой руке со сползшим бинтом
что-то нестерпимо дергало, словно нарывало. Изморенный Блищинский сидел под
скирдой и тупо глядел на хутор. Они совершенно не знали, что делать дальше...

В тот момент, когда от усталости мутлилось в глазах и все на свете казалось
далеким и безразличным, послышался испуганный голос Блищинского:

– Немцы!!!

Это было самое страшное. Но уже столько было перенесено за последние дни,
столько выстрадано, что эта страшная весть не испугом, а только щемящей тоской
отозвалась в сердце. Тимошкин повернулся и, пересиливая в себе слабость, сел на

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
снегу. Со стороны хутора, вдоль посадки, наверное по их свежим следам, один за
другим шли немцы.

Ближинский с неожиданной ловкостью подхватил автомат и спрятался за скирдой. В
снегу завозился Щербак. Он приподнялся на руках, прикусил губу и всмотрелся в
потемневший простор.

– Володя, за скирду! – страдальчески морщась, сказал он, и Тимошкун
почувствовал, что выбора уже не осталось и им предстоит только одно – драться.

Кое-как поднявшись, он подал здоровую руку Ивану и помог ему заползти за угол
скирды.

Но, говорят, беда не приходит одна. Не успели они добраться к застрешку, как
новая тревога охватила Тимошкина. В засыпанной снегом соломе очень уж отчужденно
и безжизненно желтело лицо Андреева. Тимошкун бросился к майору, встряхнул его
за плечо, но ни одним движением, ни одним звуком тот не отозвался. Тогда,
вырывая пуговицы, Тимошкун расстегнул его шинель, припал ухом к широкой остывшей
груди и, не веря себе, понял, что жизнь уже покинула этого человека. Дрогнувшим
голосом он сказал об этом Щербаку.

Немцы между тем быстро приближались, – всего их было двенадцать. Один почему-то
отстал, пригнулся, покопался в снегу, потом бегом догнал передних. Сбоку от них,
за хутором, кажется безразличное ко всему в этом поле, заходило красное,
холодное солнце. Ветер постепенно утихал, и поземка к ночи унималась. Щербак
прижался к соломе, все больше бледнея, и, видимо, чтобы сдержать стон, крепко
сжимал челюсти. У Ближинского нервно дрожал подбородок, он притих и растерянным
взглядом шарил по сторонам.

Надо было готовиться к бою. Щербак, обернувшись, раздраженно прикрикнул:

– Ну, что сбились? Тимошкун – под коня!.. Ты, писарь, по ту сторону. И не
спешить!

Ближинский, пригнувшись, молча шмыгнул за скирду. Тимошкун вышел из-под
застрешка и начал пристраиваться в снегу, возле конского трупа. Щербак, лежа на
соломе, взял автомат.

– Эх, черт!.. Закурить бы! – тихо проговорил он.

Как всегда в минуту приближения опасности, ему хотелось курить. Обычно в такой
момент Тимошкун свертывал цигарку, прикуривал и совал ее в зубы товарищу, а тот,
не отрываясь от прицела, наводил пушку по пехоте или танкам. Теперь же курева у
них не было, и Щербак с досадой выругался.

Они замерли и ждали. Шансов выйти живыми из этого боя у них было мало. Немцы
вряд ли будут рваться к скирде, но огня не пожалеют, в этом все трое были
уверены. Плохо, что мало было патронов – всего по диску на автомат. Однако
другого выхода у них не было. Немцы уже повернули от посадки и, охватывая скирду
подковой, начали расходиться по полю. Они еще не стреляли, но, видимо,
чувствовали, что предстоит схватка, и, подходя к скирде, взяли оружие на
изготовку.

– Подпустим ближе? – сказал Тимошкун.

Щербак кивнул головой. Говорить ему было трудно, он казался совсем измученным.
У Тимошкина заскребло на душе.

Стало темнеть. В небе над хутором расплылась лимонная желтизна с багряной
полосой у самой земли. Синеватые сумерки быстро закрывали даль, на зимнюю
равнину опускалась ночь. На снегу, однако, хорошо были видны фигуры всех
двенадцати немцев, хотя лица их уже скрадывал мрак. В середине цепь была реже, а
на флангах заметно сгущалась, – наверно, крайние побаивались и невольно жались к
остальным.

И вот, не замедляя шага, кто-то из них дал первую автоматную очередь. В бочке
возле скирды гулко звякнула пуля; срикошетив, она сыпнула снегом, и Тимошкун
придвинулся ближе к заснеженному трупу лошади. В десяти шагах, скав автомат,
лежал Иван. Ветер вихрил над ним перемешанную с мякиной снежную пыль.

Немцы ударили из автоматов. Очереди гулко затрещали в вечерней тишине, пули
беспощадно секли скирду. Соломенная труха густо запорошила с подветренной
стороны нетронутый снежный наст. Тимошкун прижался головой к лошадиному брюху и
напряженно ждал, когда хоть немного ослабеет этот первый огневой напор.

Но он ослабел не скоро. И только когда немцы, по-видимому расстреляв первые
магазины, начали менять их, стало несколько тише. Тимошкун схватился за автомат
– гитлеровцы были совсем близко, длинной изогнутой цепью они охватывали скирду.
Одни бежали, другие торопливо шагали с подоткнутыми под ремни полами шинелей, в
касках или зимних, с длинными козырьками шапках. Тимошкун взглянул на Ивана, –
полный терпеливого ожидания, тот лежал под скирдой.

– Рус, сдавайся! – донесся с поля далекий, чужой, враждебный голос. Сразу же
закричали и другие, и с полминуты еще слышалось:

– Рус, сдавайся!

– Еван!.. Капут!
– Рус капут! Сдавайсь!

Кто знает почему, не так их огонь, как эти злобные выкрики леденящей тоской захлестнули сердце Тимошина. Ему показалось, что уже нет выхода, что спастись невозможно, и остается только или умереть, или сдаться в плен. Но ведь сколько они уже насмотрелись и наслышались о плене, – он был для бойцов хуже самой мучительной смерти.

И тогда, чтобы разом пресечь отчаяние в себе, Тимошин, не очень целясь, длинно полоснул по цепи. Потом, уперев магазин в замерзшую лошадиную лопатку, выпустил несколько коротких и частых очередей. Немцы встрепенулись, кто-то рванулся вперед, некоторые попадали в снег, и снова в сплошной трескотне захлебнулись их автоматы.

И все-таки уничтожить бойцов было не так-то легко. Скирда и небольшие сугробы снега перед ней неплохо защищали от прицельного огня. Немцы же были видны как на ладони, ни один из них не мог где-либо укрыться, и если бы ребята имели больше патронов, то, возможно, им удалось бы отбиться.

Но патронов было ничтожно мало для долгого боя, и через некоторое время Тимошин испугался, подумав, что магазин вот-вот опустеет. Щербак перестал стрелять еще раньше. Немцы тоже заметно притихли, только каких-нибудь два автомата с их стороны беспорядочно сыпали пулями – в снег, в скирду, в воздух над ними. Запахло дымом. Горело где-то в застрешке, в котором они недавно укрывались, и ветер стяжал по земле горький удешливый дым. В этом дыму, кашляя, заворонился Щербак.

– Володька! – позвал он. – Где писарь?

Тимошин приподнял голову и прислушался, но за скирдой ничего не было слышно – ни движения, ни выстрелов, – кажется, там что-то случилось. У Щербака, видимо, уже постыла первая злость, и он забеспокоился.

– Ползи туда. Может, ранили, – морщась от боли, сказал он.

Скирда густо дымила, но огня еще не было. Немцы лежали в поле. Двое из них, наверное, раненые, покинув цепь, потянулись к посадке.

Прихватив автомат, Тимошин пополз за скирду. Тут было несколько тише, и можно было приподняться. В это время что-то дернуло на голове его шапку. Тимошин оглянулся, сорвал ее с головы – из двух свежих дыр торчала вата. Он снова надвинул ее и пополз дальше.

Но где же Блищинский? Тимошин заполз за скирду, куда полчаса назад отправился Гришка, огляделся по сторонам, однако нигде не увидел его. Некоторое время он растерянно лежал на снегу, не зная, что и подумать. Но вот совсем близко от скирды он заметил следы. Широкие шаги человека в немецких, подшитых кожею валенках терялись в ближних кустах виноградника.

Вот оно что!

Мгновенно все стало ясным. Тимошин даже застонал от бессильной ярости. Как это он недосмотрел? Как не предвидел? Почему он не приполз сюда минутой раньше? Если бы хоть издали заметил, как удирал этот гад, то, не глядя на Ивана и на огонь гитлеровцев, бросился бы догонять его. Но он опоздал, и Блищинского уже не было видно.

За несколько коротких минут, пока Тимошин лежал здесь под пулями, вереница горестных мыслей пронеслась в его голове.

«Подлый, ничтожный человек! Почему я не застрелил его раньше? Почему столько терпел его, не желая с ним связываться? И вот благодарность за все!.. Хотя чего было ожидать!..»

Обида и боль сжимали сердце бойца от сознания того, что Блищинский так вероломно обманул их и тем обрек на смерть. А теперь он спасется, выживет, дождется светлого дня и клещом вопьется в новую, послевоенную жизнь. На его груди будут висеть боевые медали, в карманах будут лежать документы, которые дадут ему права на привилегии, он будет проповедовать то, во что сам не верит. Будет делать карьеру.

Распластавшись на снегу, Тимошин страстно жаждал отомстить Блищинскому. Правда, он не знал еще, что сделал бы с писарем: может, застрелил бы его, а может, только избил, ибо – он понимал – жаловаться по закону на этого выродка было не за что. Разве он выполнял с ними боевую задачу или изменил Родине? Он бессовестно бросил их тут, как вчера бросил майора, но он вынесет к своим его сумку с неизвестно какими бумагами, припишет себе какое-нибудь геройство, да еще наклевещет на них, оставивших пушку. Худшего невозможно было себе представить. Все в Тимошине горело ненавистью, и он поклялся, если только выживет, во что бы то ни стало найти писаря и разоблачить его.

Скирда дымилась, ветер неистово раздувал в ее чреве огромный невидимый пожар. Дым слепил глаза и до кашля раздирал горло.

Ошеломленный новой бедой, Тимошин вернулся к Ивану.

Фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
Щербак повернул к нему хмурое, землистое лицо:
— Ну что?
— Сбежал! — упавшим голосом ответил боец. — Сбежал через виноградник.

Иван не удивился и не испугался, а снова крепко, до белых пятен на щеках, сжал челюсти и напряженно посмотрел вдаль.

— Подлюга! Теперь нам конец!

Тимошкун лег за снежным сугробом и пустил в поле несколько коротких, скучных очередей. Немцы по одному перебегали, приближаясь к скирде; их автоматы то и дело потрескивали в морозном воздухе, и пули с трех сторон злобно стригли солому.

Теперь конец — это точно, подумал Тимошкун, потому что без патронов недолго продержишься. Возможно, их сожгут, если не убьют раньше, чем разгорится эта скирда, или возьмут в плен и там уничтожат. Значит, конец! Вот как обернулась прежняя его нерешительность, терпимость, нежелание ссориться с Блищинским. Теперь наступает расплата...

Но они были молоды и очень хотели жить. Жить, чтобы дождаться мира, тихих радостных дней, изведать свое скромное человеческое счастье. И еще Тимошкуну очень горько было погибать потому, что он выпустил в ту заветную жизнь Блищинского. Ненависть удвоила в парне неуемную жажду жизни. Раненый и измученный, еще полчаса назад, не имевший сил шевельнуться на снегу, он вдруг вскочил на ноги и прохрипел:

— Берись за шею!
— Что ты надумал?

Щербак не понял, удивился, недоуменно взглянул на него, а затем с внезапной надеждой поднял к его плечам свои руки. Тимошкун присел, подставил другу спину, — большие покрасневшие пальцы Ивана цепко сомкнулись на его груди. Тимошкун напрягся, неимоверным усилием поднял товарища и ступил в снег — под автоматный огонь и дым от скирды.

9

«Еще пять шагов... Еще три... Еще немножко... Еще один!» — стучало в его голове. Он совсем изнемог, ноги его заплетались, но он шел. Не раз падал на снег. Руки Ивана под его подбородком тогда расцеплялись, он скатывался с плеч, и Тимошкун судорожно хватал ртом воздух.

Несколько минут он лежал пластом, припав щекой к снежному насту, и обессиленно слушал, как Иван, подняв автомат, лязгал затвором. Немцы все еще преследовали бойцов, и, чтобы как-нибудь задержать их, Иван в перерыве, наскоро прицелясь, стрелял.

Но они все больше слабели. Удлинялись их остановки, все меньше оставалось сил, и таяла надежда спастись. Иван раскрыл диск, пересчитал патроны. Тимошкун молчаливо отсчитывал его выстрелы: это десятый, — значит, у них осталось всего шесть патронов.

Шесть последних патронов — шесть коротких попыток отстоять жизнь.

Хорошо еще, что на землю спустилась ночь. В густой синеве неба роями мерцали звезды, кругом было просторно и пусто, но где-то в этом просторе их подстерегала смерть. Куда бежать и где искать спасения, они не знали и тащились по винограднику в ту сторону, куда их гнали немцы.

А где-то совсем недалеко гремел бой и отчетливо слышались взрывы. Лежа в снегу, Тимошкун хорошо различал знакомое сдвоенное «трах-бах» — это стреляли танки. Ощущение близости своих подбодрило его. Поддерживая себя на руках, он подставил спину Ивану, и тот опять сцепил на его шее свои холодные кисти. Шатаясь, боец поднял страшно тяжелое тело друга, и в ту же секунду ночную даль коротенькой низкой молнией прорезал трассер. Он мелькнул и пропал. С трудом удерживаясь на ногах Тимошкун взгляделся в ночь и увидел второй стремительный блеск навстречу первому. Это было где-то далеко, казалось, на самом горизонте. Внезапная надежда прибавила сил, и он, пригнувшись чуть ли не до самой земли, широко зашагал между кустов. Иван все время молчал за спиной, ноги его, кажется, волоклись по снегу; скав зубы, он сдерживал в себе стоны.

На этот раз Тимошкун одолел не менее тридцати шагов. Тридцать широких шагов к своим, навстречу спасению. Потом упал коленями в снег и, опираясь на руки, всмотрелся в даль.

Там что-то загорелось. Еще раз-другой мелькнули и пропали трассеры, донеслось глухое сдвоенное «трах-бах», и стало видно, как затрепетала, загорелась, замигала на ветру маленькая красная искорка далекого пламени.

Иван тоже приподнялся на локте, увидел огонь и сказал то, от чего у Тимошкина сильно защемило в груди:

— Тридцатьчетверка наша.

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
да, это горела тридцатьчетверка. Они уже много раз видели, как горят разные
танки, и издали, не столько по очертаниям, сколько по огню, могли распознать их.
Неизвестно почему, но тридцатьчетверки всегда вспыхивали, как факел, и горели
ярким и дружным пламенем. С горечью на сердце бойцы некоторое время
всматривались в этот далекий огонек – свежую могилу неизвестных, но до боли
родных людей.

– Рус, сдавайся! – снова закричали немцы, и из темноты прогремела очередь. Пули
стегнули по кустам, визгливо срикошетили в темноте. Немцы, кажется, подошли
совсем близко и, конечно, давно бы расстреляли обоих, если бы не скрывавший их
виноградник.

Иван приподнял ППШ и выстрелил. В ответ прогремело несколько очередей, и хлопцы
увидели огоньки при выстрела из автоматов. Это было не дальше чем в двухстах
метрах.

Надо было уходить, но Тимошкин медлил, чувствуя, что силы у него иссякли.
Поднять Щербака и бежать он уже не мог, а другого выхода у них не было. Иван
понял это, они расположились в стороны, чтобы не лежать вместе, притаялись под
кустами виноградной лозы, притихли.

Кажется, наступал конец.

Потеряв их из виду, немцы наугад постреляли по винограднику и умолкли, ожидая,
видимо, пока они покажутся снова. Жадно глотая воздух, Тимошкин лежал под густым
кустом и ждал выстрелов друга. Он боялся потерять их счет.

В этот момент сдавленным шепотом заговорил Щербак.

– Тимошкин, – тихо позвал он, – ползи!

Парень ждал этих слов и боялся их, зная, что спасения уже не будет.

– Ползи! Я останусь, – сдерживая стон, говорил Щербак.

Тимошкин улыбнулся: «Чудак человек! Разве так можно?»

– Нет!

Щербак помолчал немного, а потом с внезапной напускной злостью начал его гнать:

– Иди, пока не поздно! Ну! Ползи! Слышишь? Потом я...

Он хотел обмануть друга ради его спасения, ценой своей жизни, ибо куда он мог
уползти с такой раной?!

– Не пойду, – упрямко сказал Тимошкин.

Возможно, кто-то из них шевельнулся, а может, немцы услышали голоса, только
снова совсем рядом ударила очередь, Тимошкин ткнулся подбородком в снег, а Иван
тихонько, коротко, но очень тревожно ойкнул.

Недобрая догадка мелькнула в сознании Тимошкина.

– Ваня!!!

– Уходи, – ослабевшим голосом сказал Щербак. – Ползи... Я все...

Привстав на колени, Тимошкин подался к другу, но не дополз каких-нибудь двух
шагов, как Иван ткнул в висок автоматом и выстрелил.

Тимошкин чуть не вскрикнул в отчаянии, вскочил на ноги и, уже не прячась,
метнулся к товарищу. Иван лежал неподвижно, обмякший, снег возле его головы был
мелко обрызган кровью.

Тотчас в винограднике затрещали автоматы, снег между кустов взрыли пули, но
Тимошкину уже не было страшно. Он повернул Щербака на спину, потом одной рукой
обхватил его лобастую голову и одубевшей своей ладонью попытался зажать висок,
из которого лилась горячая липкая кровь. Не сразу сообразил он, что его
последний в этой беде товарищ, его лучший фронтовой друг был уже мертв...

Когда совсем рядом в винограднике мелькнуло несколько темных согнутых фигур, он
вырвал из остывших рук Щербака его ППШ и выстрелил – раз, второй, третий.

Кажется, его выстрелы кого-то настигли – кто-то там вскрикнул, и тотчас
несколько очередей яростно прошлись по винограднику. Тимошкин с минуту
прижался к холодеющему телу друга, а потом, поняв наконец все, бросился прочь.

Теперь ему не оставалось ничего больше, как только спасать себя, и он на руках
и коленях карабкался по снегу меж виноградных кустов, полз, потом вскочил и
побежал. Сзади трещали очереди, пули или, может, кусты хлестали по полам его
шинели, – боец падал, потом, отдохнувшись, опять вскакивал и бежал, бежал...

Через некоторое время немцы перестали стрелять и уже не преследовали его.

Возможно, они нашли мертвое тело Ивана и остановились. Тогда он пошел медленнее,
зацепился за что-то, упал и долго бесчувственно лежал на жгучем морозном снегу.

Потом, сообразив, что пришло спасение, он сел и огляделся. Вокруг было тихо,
над ним дремала зимняя ночь и сновали в вышине зеленые, белые, синие звезды.
Одна из них, будто упав с неба, красным огоньком ярко блестела на горизонте, и
он вспомнил, что это догонает танк. Обрадовавшись его призывному знакомому
блеску, Тимошкин поднялся.

Затем он не спеша шел – один во всем этом широком ночном просторе – и плакал.
Давно уже, наверное с детства, не душили его такие жгучие слезы – от безмерной
утраты, от одиночества, от горькой боли военной неудачи, от подлой измены

фронтовая страница. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru Блищинского. Он понимал, что победить этого негодяя будет нелегко, но только бы дойти до своих! С упрямой решимостью жаждал Тимошкин кары ему – ради отмщения и во имя справедливости. Отчаяние и гнев сжимали его горло, когда он вспоминал Скварышева, Кеклидзе, Щербака, и множество других славных ребят, что, засыпанные снегом, навеки остались на широких просторах венгерских равнин.

Сквозь слезы он ничего не видел вокруг, кроме далекого огня, который тихо мерцал на чьей-то безвременной железной могиле.

Огонь и вел его в темноте ночи – от гибели к жизни, туда, к своим.

1960 г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://bykovvasil.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!